

ИГОРЬ БОЙКОВ

ЖУМАЧ НАДОРВАННЫЙ



РОМАН О КОНЦЕ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Игорь Андреевич Бойков

Кумач надорванный. Роман о конце перестройки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=50141492

Кумач надорванный. Роман о конце перестройки:

ISBN 978-5-6042521-0-9

Аннотация

Библия утверждает, что Моисей сорок лет водил по пустыне евреев, вышедших из Египта, чтобы за это время родилось поколение, не помнившее жизни на покинутой родине. А в России, тихо и незаметно, минуло тридцатилетие с начала горбачевской катастрофы, память о которой уже не только в сознании молодого поколения, но и у зрелых людей растворяется во мгле времени.

Книга Игоря Бойкова возвращает нас в годы перестроечного лихолетья, когда деградировали идеология и мораль, разрушались экономика и государство, а измена и безумство воцарялись повсюду: от Кремля до самых до окраин страны Советов. Мало было таких, кто устоял в то Смутное время, больше – тех, кто либо с упоением крушил Родину, либо отгородился от последних времен стенами своей «хаты с краю».

Этот роман – о «рождённых бурей», о предательстве и подвижничестве, о том, как, вопреки всему, малая горсть

патриотов сохранила честь и верность Отечеству. В центре произведения судьбы юноши и девушки, чья первая любовь погибла в вихре перестройки, проданная и раздавленная несправедливой эпохой.

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	15
III	23
IV	39
V	48
VI	61
VII	70
VIII	77
IX	84
X	96
XI	106
XII	116
XIII	131
XIV	141
XV	153
XVI	170
XVII	183
Часть вторая	191
I	192
Конец ознакомительного фрагмента.	196

Игорь Андреевич Бойков
Кумач надорванный. Роман
о конце перестройки

© И.А. Бойков, 2019

© Книжный мир, 2019

Часть первая

I

Семейные торжества Ештокины любили отмечать с размахом.

В день сорокапятилетия супруги Павел Федосеевич поднялся рано и, съев сготовленный на скорую руку завтрак, почти сразу с усердием принялся помогать ей на кухне. Вскрывать консервы со шпротами, прокручивать через мясорубку одобренные хлебом и луковыми кольцами мясные куски, нарезать кубиками очищенный картофель – всё это выходило у него хоть и не слишком сноровисто, слегка неуклюже, по-мужицки, но быстро.

Предложение жены Валентины отпраздновать день рождения в кафе Павел Федосеевич отверг начисто:

– Да где сейчас человеческое заведение-то найти?! – воскликнул он, даже возмущившись от такой несурзной идеи. – “Стекляшка” наша на Заводской? Брось! Убогое меню, обшарпанный зал, ленивые, хамоватые официанты... Ресторан “Причал” на набережной? Тоже – ну его! Там теперь одно жульё собирается. Криминальный элемент... К тому же и столики небось бронируют только своим, по благу... Дома справим твой юбилей, Валя. Я помогу.

Валентина настаивать не стала, вполне удовлетворённая прозвучавшим заверением. Её полные, чуть вывернутые губы разомкнулись, и в стройном, выбеленном зубном ряду прямо посередине, словно неаккуратно наложенная заплатка, неестественно зазолотилась крупная коронка.

– Помогай, – благожелательно изрекла она и прибавила с откровенностью. – Не хочется в свой праздник полдня стоять у плиты.

Она и сама не хуже Павла Федосеевича знала, что немногочисленные кафе и рестораны их города либо совсем непрезентабельны и захудалы, либо в них вечно не сыскать свободных мест.

Сын их, восемнадцатилетний Валерьян, поднялся значительно позже родителей, часам к десяти. Под звуки громко вещавшего из кухни радиоприёмника, он, ещё протяжно позёывая и ковыряя пальцами в уголках глаз, протопал от своей комнаты до ванной.

Валерьян, несмотря на множество роднящих его и с отцом и с матерью черт, общим обликом своим всё же мало на них походил. Несмотря на унаследованную от Павла Федосеевича широкоплечность, в осанке его не ощущалось ни самоуверенности, ни задиристой юношеской позы. Взор светло-серых, с лёгкой зеленцой, глаз не был по-житейски сметлив и одновременно покладист, как взор матери. Валерьян глядел на людей настороженно и вместе с тем пытливо, выдавая в себе натуру не слишком уверенную, но любознательную и

незамкнутую. Спина его, ровная от природы, при сидении или ходьбе несколько сутулилась, словно бы он нёс на плечах возложенный против его воли груз. Возможно, оттого он выказывал в иных случаях привычку слегка вздёргивать правым плечом, словно бы сбрасывая с себя что-то, мешавшее по-настоящему войти во вкус какого-нибудь обстоятельного разговора или же в азарт спора. Сын Ештокиных был росл, русоволос, мягок лицом, но вместе с тем казался ещё очень незрел, угловат.

Умывался Валерьян неторопливо и неаккуратно. Шумно ополаскивал рот, оглаживал влажными ладонями руки до локтей, отфыркивался, тряс головой, забрызгивая капельками тёплой воды висящее над раковиной настенное зеркальце. Тяга к долгому полосканию в тёплой воде развилась в нём с зимы, когда из-за лопнувших в подъезде отопительных труб приходилось мёрзнуть неделями, едва согревая комнаты раскалёнными докрасна, но слабенькими спиралями электрообогревателей.

Затем, тщательно протерев за собой брызги, вымытый и посвежевший, он вернулся назад в свою комнату. Одевшись, подошёл к письменному столу, выдвинул верхний ящик, взял со сложенных в стопку тетрадей небольшой обвязанный красной лентой пакет.

– С днём рожденья, мама, – войдя в кухню и обняв мать, произнёс он просто, но сердечно. – Это – тебе.

Валерьян не был велеречив, и учёба на физико-математи-

ческом факультете не способствовала развитию в нём такого качества. Мысли, чувства он склонен был выражать лаконично, даже неказисто, словно бы пряча за простотою фраз свою юношескую застенчивость.

Валентина сидела за кухонным столом и очищала от скорлупы сваренные вкрутую яйца.

– Спасибо, сынок. Спасибо, дорогой ты мой, – привстав, она поцеловала сына в щёку. – Помнишь о маме.

Отодвинув миску с яйцами, Валентина надрезала кончиком ножа перематывающую пакет ленту, вскрыла его, вытащила продолговатую, покрытую красной замшей коробочку. В ней были женские часы на аккуратном, позолоченном браслете.

– Лерик, ну ты прям... – растроганно ахнула мать и вновь принялась целовать сына. – Спасибо тебе. Спасибо, родной...

– Они механические, рукой надо заводить, – сконфуженно улыбался Валерьян, будто испытывая неловкость. – Вот это колёсико покрути. Видишь?

Расчувствовавшаяся мать вертела в руках часы, перебирала пальцами плотно пригнанные друг к другу колечки браслета, вглядывалась в чёрточки делений циферблата.

– Шикарно, – одобрил также восхищённый подарком отец.

– Я от души.

Валерьян налил себе в чашку горячего чаю и, откромсав

ножом от палки варёной колбасы пару колец, сделал два бутерброда.

– Лерик, зачем же куски хватать? Поешь нормально: кашу разогрей или поджарь яичницу, – сразу засуетилась мать. – За стол-то садиться будем ещё нескоро.

Но Валерьян, отхлебывая чай, отозвался глухим, хлебно-колбасным голосом:

– Потом поем, позже. Пока – так...

Плита была плотно заставлена сковородками, кастрюлями, мисками с кипящей водой. Снимать и втискивать их на столь же загромождённый стол ему было лень. Он ушёл из кухни в гостиную, включил телевизор, сел на диван, пробежал глазами вырезанную из газеты страничку с программой. Их областное телевидение принимало только два канала – первый и второй государственные, и передачи, транслируемые в этот час, быстро ему наскучили.

– Репортаж из совхоза... “Наш сад” – ну что за скукота? – переключая кнопки, досадовал Валерьян на столь неинтересную в субботний, да к тому же в праздничный для их семьи день программу.

Вошедший в гостиную отец растворил створки серванта, прищёлкнул языком, в сомнениях качнул головой.

– Будь другом, сходи, купи ещё вина, – обратился он к сыну. – Всё-таки гостей будет много. Некрасиво получится, если не хватит.

Выпить в компании Павел Федосеевич бывал не прочь

всегда. Щедро уставленный бутылками стол в их доме радовал всегда не только гостей, но и, прежде всего, его самого. Про гостей он помянул громко, даже как-то наигранно, чересчур, и сразу украдкой оглянулся в сторону кухни, однако благодуществующая Валентина и не подумала перечить.

– Лерик, если у нас в “Восходе” не окажется, то съезди в “Центральный”. Слышала, завозили туда недавно. Там должно быть, – крикнула она.

Валерьян дожевал бутерброд, посмотрел в пронизываемое горячими лучами окно и, слегка помедлив, кивнул.

– Съезжу, – шумно хлебнул он из чашки остатки чая.

Он знал, где следует искать вино. Пару недель назад в компании приятелей-однокурсников он отмечал окончание сессии, и прежде, чем направиться в “Центральный”, они обошли один за другим четыре гастронома, но, разочарованные, быстро выходили из каждого обратно, бранясь на оголённые витрины алкогольных отделов.

В ближайшем от их дома гастрономе “Восход”, куда Валерьян на всякий случай всё ж таки завернул, из всего питейного продавался только портвейн. Он, словно подтверждения своих ожиданий ради, взглянул на единственную на полке бутылку коротко и бесстрастно, но задавать вопросов не стал.

– Водка-то когда появится, а? Долго народ томить будут? – прогундосил приковылявший из другого отдела мужичонка в несвежей, грязно-белой рубахе.

– Не знаю, не завозят, – неприветливо буркнула из-за прилавка полная продавщица.

– “Не знаю”... А кому ж знать-то тогда?

Розоватые, вывернутые губы продавщицы разлепились в издевательской ухмылке:

– А ты у Горбача лучше спроси. В Кремль ему, мудрецу, напиши.

– Э-э... у Горбача, – крикнул мужичок, безнадёжно всплеснув рукой. – Да о чём спрашивать-то его? Горбач-трепач... Совсем сбился с панталыку мужик. Сам поди уж не соображает, чего воротит.

Валерьян, выходя, прихмурился. Генерального секретаря, руководителя страны поминали в народе в последнее время недобро, бывало – просто со злостью. Даже фамилию его – Горбачёв – повадились переиначивать в уничижительную кличку.

Родители Валерьяна Горбачёва тоже не жаловали, раздражаясь от скудеющих из месяца в месяц магазинов, но радостного, даже радужного виделось им в жизни больше. Читали запоем газеты, журналы и книги, обсуждали их с жаром, порой спорили, мечтали о высоком, лучшем. Отец, узнав, что наконец-то отменены всякие ограничения и лимиты на журнальную подписку, возликовал, будто от известия о военной победе.

“Ага, прорвалась плотина! Теперь пойдёт... пойдёт...”, – восклицал он, в радостной суетливости мечась по кухне.

Трансляции первого съезда народных депутатов Союза, что завершился около месяца назад, Павел Федосеевич и Валентина смотрели, не отводя от телеэкрана возбуждённых взоров. Если речь оратора приходилась по душе, Павел Федосеевич подсакивал на диване, разражаясь азартными выкриками: “Так! Правильно! Правильно!”. Даже пальцами прищёлкивал в избытке чувств. Но если депутат говорил по его разумению не то, он откидывался на спинку и недовольно оттопыривал нижнюю губу: “Ну чушь же несёшь! Абсурд!”

Валерьян, хоть и тоже отчасти охваченный родительским воодушевлением, долго, однако, трансляции не смотрел. Ему в те дни необходимо было готовиться к сессии.

Прикативший к остановке автобус оказался полупуст, и Валерьян, надавившийся в прежние месяцы в утреннем переполненном транспорте сполна, вальяжно уселся на свободное сидение, рассеянно оборачивая вокруг пальца прокомпостированный билет. Припекаемый бьющим сквозь стёкла солнцем, он дремотно поводит плечами, несколько раз разморено зевнул, но на пересечении проспекта 50-летия Октября с Авиационной вдруг приподнял голову и поглядел в окно.

На Авиационной, как выведаль не так давно Валерьян, жила Инна, русоволосая и слегка курносая девушка с химического факультета. Он заприметил её с зимы, с устроенного по какому-то случаю большого студенческого сбора в главном актовом зале – невысокую, фигуристую девушку с гу-

стыми русыми волосами в ладно облегающем тело красном вязаном свитере. Она сидела на ряд впереди него, чуть левее, и, в отличие от большинства остальных, не отвлекалась, со вниманием слушая нудновато вещавших с трибуны преподавателей и факультетских комсоргов.

На первомайском празднике, когда их студенческая ватага пораньше отстала от демонстрации, дабы успеть занять сухую, травянистую лужайку в городском парке, она с компанией химиков тоже оказалась среди них. Однако Валерьян, не умевший, в отличие от товарищей, ни увлечь девушек занимательными рассказами, ни петь под гитару, так и не сумел завязать с ней непринуждённый, раскованный разговор. Беседа их, состоящая из натужно выдумываемых им вопросов и её прохладно-односложных ответов, скоро угасла, и Инна незаметно передвинулась поближе к другой кучке, сыпавшей шутками и взрывавшейся раскатистым смехом. Опечаленный, корящий себя за косноязычие Валерьян вскоре от компании отделился и пошёл пешком домой. С того раза говорить с Инной ему не доводилось.

II

В “Центральном” было не продохнуть. Мельтешащие под низкими потолками лопасти вентиляторов, разгоняя по его залам волны прогретого воздуха, прохлады не создавали, а только усиливали духоту. Протолкавшись сквозь выставившийся из мясного отдела в проход хвост очереди, Валерьян вспотел и отёр тыльной стороной запястья увлажнившийся лоб.

Возле алкогольной витрины тоже была сутолока, в гуще сгрудившихся у прилавка людей закипала сварливая перебранка.

– Больше одной на человека не давать! – ревниво выкрикнул веснушчатый рыжий парень, провожая отоварившегося тремя водочными бутылки мужика завистливым взором.

– Правильно, не давать! Всем отовариться надо! – загудели остальные, усиленно продираясь вперёд.

Прежде чем пристроиться к очереди, Валерьян, вытянувшись на цыпочках до боли в ступнях, удостоверился, что красное вино на витрине действительно есть.

– “Цинандали” мне, пожалуйста. Грузинского, две бутылки, – попросил он, когда спустя минут двадцать пробился-таки к прилавку.

Сзади опять зароптали. Кто-то из-за его спины бросил продавщице укоризненно:

– Тут талоны-то ещё не все отоварили, а вы без звука по две, по три отпускаете...

Приземистый крепыш в красной футболке бесцеремонно подтолкнул Валерьяна под локоть:

– Грузинское... Нашёл, парень, что выбрать! Пускай грузины сами теперь свои “чернила” лакают.

Валерьян отстранился в неприязненном недоумении, на крепыша зашумели разом сразу несколько:

– Да причём тут грузины? Бардак из Москвы, от Горбачёва идёт.

– Правильно! Нашёл виноватых...

– И молодцы, что выступили! Хватит терпеть!

– Ишь, какой шовинист выискался!

Крепыш, свернув назад короткую шею, запальчиво гаркнул в ответ:

– Против Союза бузят – и молодцы? Сами они шовинисты ещё те! Нашли, кого защищать.

Валерьян не в первый раз в последние месяцы подмечал: стоит кому-нибудь в людском скопище бросить одну-две хлёстких фразы, как тут же завязывается перепалка, поднимается гомон, гвалт. Спорили по-всякому. Иногда запальчиво, но незлобиво, находя вскоре, на чём сойтись. Но порой схлёстывались не на шутку, кричали, выходя из себя.

Валерьян, выбираясь из растревоженной очереди, пытался вспомнить, что недавно, весной, писали про Грузию в газетах, о чём шумели месяц назад её народные депутаты.

Нерусские, говорящие с акцентом, словно даже бравирующие им делегаты, напористо давили на Съезд. Дотошно и натуралистично, будто нарочито желая вызвать у остальных ощущение прожигающего стыда, расписывали, как солдаты укладывали на тбилисской площади невооружённых манифестантов автоматными очередями наповал, как остервенелые десантники кромсали сапёрными лопатками грузинских женщин, как хладнокровно командовали расправой русские офицеры и генералы.

Стыд от таких рассказов действительно пробирал. Депутаты, в том числе и военные, не оспаривали их ни в чём, будто вина за случившееся и себя лично. Павел Федосеевич, сидя перед телевизором на диване, трагически опускал веки: “Что ж они, гады, творят? Против женщин – танки и ВДВ... Ох, с-с-сволочи номенклатурные!”

Валерьян, словно желая исправить подпорченное настроение, зашагал от “Центрального” не обратно к остановке, а по 50-летию Октября в другую сторону, к Малому Трубному переулку. Уходя из дому, он забыл надеть часы, но ощущать время мог хорошо, потому не сомневался, что успеет вернуться к сроку. “На Трубе”, напротив входа в музыкальный магазин, собиралась “биржа”. Таким вызывающе несоветским словом стали с недавних пор называть музыкальную толкучку, возникавшую здесь по выходным.

Народу на “бирже” толклось немногим меньше, чем в отделах гастронома. Юноши и девушки, одетые кто во что – од-

ни в джинсах, футболках и по-пиратски обвязанных вокруг головы цветастых платках-банданах, другие, напротив, незатейливо, по-простецки – рассматривали выложенные торговцами на настеленных прямо на асфальт газетах кассеты и пластинки, приценивались к кожаным курткам и шипастым металлическим браслетам, листали отпечатанные на машинках брошюры с песенными текстами рок-групп. Кто-то просто слонялся туда-сюда, или поджидал кого-то, дымя сигаретами и небрежно поплёвывая на асфальт.

Валерьян, закинув сумку с винными бутылками на плечо, неторопливо переходил от одного торговца к другому, интересуясь, нет ли новых записей группы “Кино”, других нравившихся ему групп. Порой, заинтересовавшись, приседал на корточки, принимался вертеть в руках то одну кассету, то другую, вчитываясь в начирканные на бумажных обложках вручную названия рок-команд.

– Здорово, Валюха! – вдруг по-свойски хлопнула его по спине чья-то ладонь.

Щекастый, стриженный под “грибок” парень уже совал ему растопыренную пятерню:

– Давно ж ты сюда не забредал! Новым музоном разжиться захотел?

Валерьян поднялся на ноги.

– Да было б чем. Всё слушано-переслушано уже.

– Ишь, гурман... – щекастый понял брови. – В Москву тогда езжай, на Арбат.

Валерьян, не удержавшись, подмигнул с ехидцей:

– Часто там бывал? Знаешь?

Ему показалось забавным, что простоватый увалень, бывший одноклассник Стас, почти всякие каникулы мотавшийся к деревенской родне, мог сделаться завсегдаем арбатских сборищ, про которые только-только начали писать газеты.

Стас, задетый за живое, выпятил нижнюю губу:

– А чего ж не бывать? От нас три часа на электричке – и всё, Москва. Делов-то...

Валерьян улыбнулся, произнёс примирительно:

– Съездить не трудно – согласен. Только всё не собраться мне. Что там, на Арбате? Правда сплошь музыканты, поэты, художники выступают?

Стас приосанился, почувствовав превосходство.

– Там теперь кто хочешь выступает. За политику много задвигают, за Америку, против коммунаг.

– Удивил... За политику теперь в любой очереди “задвигают”, – скептически заметил Валерьян.

Стас загорячился вновь:

– Не, грамотно на Арбате, говорю. В очередях лаются просто, а там по-умному говорят, объясняют, что к чему. Кто приколет – того и слушаешь. Круть!

– Ты разве про политику туда ездил слушать? – усомнился Валерьян. – Я думал, купить чего.

– Одно другому не помеха. Музыки на Арбате – зава-

лись. Любую группу найдёшь. Хоть забугорную, хоть нашу. В Москве сейчас вообще что угодно достать можно, – Стас ухмыльнулся с самодовольством. – Надо знать только, где.

– Что ж, например?

– Да что желаешь! Кассеты – на Арбате. Джинсы, кроссовки, куртки фирменные – с рук. Видаки и фильмы – тоже.

– Что ж за фильмы? – спросил Валерьян, не жадный до вещей.

Стас сально хихикнул:

– Фильмы – зашибись! Эротика, порно – у-ухххх! Прямо в видеосалонах. Такое в наших не крутят.

Валерьян переступил с ноги на ногу, прикусил губу.

– Про всё-то ты уж проведаль...

– Захочешь – проведает. Всё там купить реально, отвечаю. Выбирай – не хочу.

Они, не сговариваясь, двинулись вдоль ряда торговцев назад, к перекрёстку. Стас не был прижимист, потому доверительно оповестил:

– Я, кстати, на следующей неделе, в выходные, в Москву сгонять как раз собираюсь. На день. Ещё ребята поедут, девчонки. Хочешь с нами?

– На Арбат?

– И на Арбат, и так – закупиться. Потом погулять.

Валерьян хмыкнул.

– Деньгами не богат.

Стас подтолкнул его локтем в бок.

– Не прибедряйся. Стипендия-то небось, повышенная. Ты ж ещё в школе вечно в “отличниках” ходил.

– В “хорошистах”, – педантично поправил Валерьян.

– Один хрен – учился. Так что должно тебе в универе “копье” капать.

Валерьян скосил на Стаса пытливый глаз. Почти всё, что накопил со стипендии, он истратил на покупку часов, но сознаваться в этом не стал.

– Зазываешь?

– Приглашаю, чудак. Чего ломаешься? Реально в Москве сейчас супер.

Стас словно удовольствие справлял, осознавая, что способен Валерьяна чем-то поразить. И пока они шли к остановке, уговаривал довольно настойчиво.

– Ладно, домой я, – сказал Валерьян, видя, что подъезжает его автобус. – Будет получаться – позвоню.

Он поудобнее подзакинул на плечо сумку с бутылками, и те издали характерный стеклянный дребезг.

– Ты чего это? – дуги широких бровей Стаса заострились. – Никак с бухлом?

Валерьян прикусил ноготь мизинца, крутанул шейю.

– Для дома купил. День рождения мать сегодня справляет.

Стас, прощаясь, вновь фамильярно облапал плечо Валерьяна.

– А-а, для мамы бегал. Я уж подумал, для себя...

Он грубовато, но добродушно засмеялся.

В дороге, глядя на дома, светофоры и повороты отстранённо, точно на повторяющиеся однообразные и блеклые картинки, Валерьян чувствовал, что его начинает по-настоящему тянуть в Москву.

III

Дома, в гостиной, был уже раздвинут и застелен скатертью стол, и когда Валерьян, открыв входную дверь своим ключом, принялся разуваться в прихожей, обеспокоенная мать забросала его вопросами:

– Где ж ты пропадал? Неужели очереди такие?

– Да, очереди. В “Восходе”, в “Центральном” – везде..., – в полутьме прихожей он пошарил подле себя рукой, поднял и протянул сумку. – Зато вот – достал.

– Ой, да стоило из-за этого, – Валентина с недовольством оглянулась в сторону кухни. – Погнал тебя тоже...

– Наконец-то! А мы думали, куда ты запропастился? – сказал выглянувший из неё отец.

Павел Федосеевич принял у жены сумку, вынул бутылки.

– Грузинское! О как! – воскликнул он обрадовано. – Пил такое когда-то в Кутаиси. Помню...

При упоминании отцом своей давней поездке в Грузию Валерьяну сразу вспомнился крепыш из очереди.

– Там ведь спокойно тогда было, да?.. – спросил он в задумчивости.

– Да не то слово! Я от работы ездил, по профсоюзной путёвке. И в городах бывал, и в горных сёлах. Везде радушие: усадят за стол, угостят.

Но воодушевление отца Валерьяна только сильнее смути-

ло.

– Радушие? – переспросил он с сомнением.

– Ну да. Прекрасный гостеприимный народ, – подтвердил Павел Федосеевич и даже с лёгкой обидой прибавил. – Что ж я, по-твоему, выдумываю что ли?

Валерьян почесал переносицу, примолк. Благодушно-восторженные рассказы отца не вязался с той очевидной и глубокой обидой, что сквозила в словах того крепыша.

Валерьян направился к себе в комнату. Там он сел за стол и взял в руки маленький календарь, всегда лежавший здесь среди институтских учебников, лекционных тетрадей и книг.

“Четверг – тринадцатое, пятница – четырнадцатое, суббота – пятнадцатое..., – прикидывал он, соотнося поездку с делами, которые могли возникнуть в эти дни. – Вроде получается”.

Затем он выдвинул нижний ящик стола и достал неновый, в красной обложке, ежедневник. Между его желтоватых страниц, испещрённых расписаниями занятий, набросками решений математических задач и даже куплетами нескладных юношеских стихов, хранились его деньги. После покупки часов их оставалось действительно не так много, шесть рублей, да ещё немного копеечной мелочи, рассыпанной по дну ящика. Но съездить в Москву вполне хватало...

До прихода гостей оставалось более получаса. Валерьян, захватив с собой из гостиной газету – вчерашние “Аргументы”

ты и факты”, прилёг. Отец, как он догадался, её уже прочёл и испещрил пометками: многие заголовки были отчёркнуты карандашом, а напротив некоторых обведённых овалами абзацев в статьях стояли восклицательные знаки.

Валерьян перелистывал страницы, задерживая взгляд на некоторых из заголовков.

Первым увлёк материал про экономику, также отмеченный отцом. Автор, маститый экономист, работник Госплана, со страстью доказывал: хозяйственная система страны расточительна, огромное количество ресурсов растрачивается впустую, руководители предприятий безалаберны и неумелы, всеобщая бесхозяйственность – уродливая нормой.

“70 % заготавливаемой древесины остаётся не вывезенной в лесу”, – приводил автор убойный, с его точки зрения, пример.

Валерьян хмыкнул, опустил раскрытую газету на грудь. Прошлым летом он ездил к родне в деревню, вокруг которой высились обширные, вековые леса. В окрестностях тогда – он хорошо это помнил – без устали работали бригады лесорубов. Тяжкие падения стволов, хруст обламываемых веток, жужжание пил слышать было от самой околицы. Но он не припоминал, чтобы поваленные деревья бросали гнить на лысых полянах, среди пней. Нагруженные доверху тягачи так и выныривали с лесных просек.

Во второй отмеченной отцом публикации речь шла об эпохе Сталина. Раскулачили, расстреляли, сослали.... В по-

следнем абзаце публицист выдал жутковатое резюме:

“Только по самым скромным подсчётам речь идёт не менее, чем о десяти-пятнадцати миллионах, погибших в концлагерях. Однако чудом выжившие узники ГУЛАГа настаивают, что общее число репрессированных может приближаться к сорока миллионам. Сорок миллионов – население средней европейской страны – перемололи жернова адской машины. И мы, потомки уцелевших, только лишь теперь, десятилетия спустя, начинаем осознавать подлинный масштаб одной из самых чудовищных трагедий в истории человечества”.

Валерьян попытался представить эту огромную, облачённую в серые бушлаты, голодно и угрюмо зыркающую сквозь проволочные заграждения одноликую массу людей – и ему захотелось отвести от газетных полос глаза.

“Ну время... Ну жизнь...”, – подумал он, холодея.

Третью статью, посвящённую делам международным, Валерьян не успел прочесть до конца. В дверь позвонили.

Он бросил взгляд на часы и поднялся с кровати. Поглощённый чтением, он даже не успел переодеться в праздничное.

Из прихожей уже доносились радостные голоса, шелест букетной обёртки.

Валерьян раскрыл шкаф, достал оттуда свежую рубашку и брюки.

– Ты готов? – заглянул в комнату Павел Федосеевич.

Валерьян как раз застегнул на себе пуговицы.

– Ага. Кто пришёл-то хоть?

– Мироновы, – отец понизил голос. – Сергей со своей Ирой.

Валерьян пригладил расчёской чёлку и вышел в прихожую вслед за отцом.

Квартира быстро наполнялась гостями. Давние подруги Валентины приходили почти все с мужьями, друзья Павла Федосеевича – с жёнами. Сердечные приветствия, поздравления, поцелуи – всё сливалось в сплошной возбуждённо-радостный гомон. Минут через двадцать цветы было уже некуда ставить, хотя водой заполнили все имеющиеся в доме вазы. Приходилось, нелепо соединяя розы с гладиолусами, запихивать в каждую по два букета.

Валерьян помогал отцу расставлять на столе бутылки.

– Всё-таки здорово, что ты съездил, достал. Теперь точно на всех хватит, – удовлетворённо оглядел Павел Федосеевич заготовленную “батарею”. – Иначе мог выйти казус.

Словно ухватывая неотвязно крутящуюся в голове мысль, он тут же прицокнул горестно языком:

– Вот жизнь нам устроили, а! За столом посидеть по-человечески – и то проблема.

Вошедший в гостиницу Сергей Миронов разгладил пегие прокуренные усы, подмигнул Павлу Федосеевичу:

– Эх, найти б такой магазин, где всё всегда было б в продаже, но о котором бы никто не знал?

Павел Федосеевич вскинул подбородок, закатил глаза:

– При нашем абсурде?! Серёжа, ты – оптимист...

Гости чинно рассаживались.

Во главе стола поместилась Валентина. Павел Федосеевич сел рядом, по правую руку. Стол не был широк, поэтому ему пришлось примоститься практически на самом углу, неловко отставляя колени от ножки.

Супруги Мироновы уселись слева от Валентины. Напротив них – подруга матери со школьных времён Наталья Данилова со своим мужем. Далее сидели супруги Никитины, супруги Дворецковы, Татьяна Ермилова, разошедшаяся с мужем в прошлом году. Валерьян устроился от родителей далее всех, за противоположным концом стола, на табурете.

Павел Федосеевич встал, высоко поднял над скатертью рюмку водки. Позвякивание вилок, устремлённых к блюдам и салатницам, стихло.

– Сегодня, седьмого июля, вот этой замечательной женщине, моей дорогой и любимой жене Валентине исполняется..., – он взял паузу, многозначительно и мягко улыбнулся. – Энное число лет. Но число не простое, а особенное, юбилейное, оканчивающееся на цифру “пять”, – он опять на несколько секунд умолк, затем, набрав воздуха, заговорил громче. – “Пять” в данном случае – не просто красивая цифра. Она глубоко символична. Валентина смело может оценивать на “пять” свою жизнь. У неё есть всё, о чём можно мечтать: семья, любящий сын... Валентина окружена верными друзьями, которые пришли её поздравить и искренне разде-

лить радость. Это ведь так замечательно – осознавать, что ты любим и ценим. В этот день, – Павел Федосеевич запустил свободную руку во внутренний карман пиджака и вынул маленькую шкатулку. – В этот день я вручу моей супруге свой, особенный подарок. И пожелаю ей блистать всегда так же, как это немеркнувшее золото; цвести, как этот красный, цвета роз, камень.

Изысканным, немного театральным жестом он раскрыл шкатулку. В ней лежало золотое кольцо с огранённым рубином.

– О-о-о! – впечатлительно зазвучало со всех сторон.

Ирина Миронова, Наталья Данилова, даже Ермилова с дальнего конца стола вытянули шеи, желая рассмотреть подарок лучше.

Павел Федосеевич вдел в кольцо палец супруги.

– Многие лета! – воскликнул он, высоко вскинув голову и залпом выпивая водку.

– Многие лета! Многие лета! – нестройно, скорее шутейно, чем всерьёз подхватили гости.

Застолье пошло сытное и хмельное.

Вслед за Павлом Федосеевичем поздравительную речь держал Сергей Миронов. Без витиеватых цветистостей, он провозгласил здравицу в честь жены “друга юности” – и тоже опрокинул рюмку водки.

Следом за ним говорила его супруга. Вынув из большого целлофанового пакета объёмистую коробку (внутри оказал-

ся чайный сервиз), она присовокупила к подарку лаконичное, но сердечное пожелание.

– Чтоб уют всегда в вашем доме был и достаток, – произнесла Миронова, тяня к Валентине фужер.

Остальные гости говорили и дарили кто что. Наталья Данилова, дружившая с матерью Валерьяна с раннего детства, начала поздравление с прочувственных, но не слишком связанных воспоминаний, затем вручила высокую, изящно выгнутую с боков фарфоровую вазу. Красноречивы в пожеланиях оказались Никитины. Выразительны Дворецковы. Нашла искренние, тёплые слова и недавно расставшаяся с мужем Ермилова...

Щёки степенно слушавшей гостей Валентины переливисто розовели, подрумяниваемые похвальбой и вином. На мужа, чем дальше, чем чаще чокавшегося с Мироновым через стол, она даже не глядела.

Общий разговор по мере истощения поздравительных речей рассыпался, каждый говорил теперь с сидящим рядом о своём. Кто-то кому-то что-то рассказывал, кто-то с кем-то спорил...

Преподавательница музыкальной школы Юлия Никитина обсуждала с Ермиловой напечатанный недавно в “Новом мире” роман маститого, чтимого в Союзе писателя. Роман оказался неожидан, непригляден, словно щёгольская дублёнка, вывернутая наружу несвеже пахнувшей изнанкой. Автор, воспевавший ранее юношей-комсомольцев Гражданской войны,

буквально вытаптывал, изничтожал в новом произведении мир своих прежних героев, выставяя его подлым, гадостным, грязным.

Никитину, однако, роман впечатлил.

– Он очень, очень смелый человек, – восторгалась она таким разительным разворотом. – Не просто выжил в то ужасное время, но нашёл силы его правдиво отобразить, осудить. Не побоялся этого сделать!

– А что ж он раньше-то по-другому пел? Не имел – не имел сил, а потом вдруг раз – и обрёл? – парировала Ермилова язвительно.

– А иначе тогда было просто нельзя, – распахивала веки Никитина, переходя на сдавленный шёпот. – Это ж время было такое жуткое. Время...

– “Иначе нельзя”... Да бросьте вы! – фыркнула Ермилова вызывающе. – Просто держит он нос по ветру, вот и всё.

– Ой, ну зачем вы так? О заслуженном-то человеке, – Никитина приложила руки к груди. – Он просто в молодости не знал ещё всего. Тогда про эти ужасы вслух не говорили. О них вообще мало кто знал.

Разговоры между мужчинами тоже незаметно сползли к политике. Толковали про депутатский съезд, про межрегиональную депутатскую группу, но иногда невпопад...

– На наших глазах свершилось – не побоюсь этого слова – историческое событие. Впервые за многие десятилетия звучит глас общества, глас его демократически избранных пред-

ставителей, – вдохновенно, будто на митинге, вещал Николай Иванович Данилов, муж Натальи.

– Хороши они, народные представители! Академика Сахарова засвистали. Тошно было смотреть, – хмельно бросил через плечо Дмитрий Никитин, на мгновенье отвлекшись от спора жены с Ермиловой.

– А у нас вечно так: любое хорошее дело ругают, – крикнул подпивший преподаватель пединститута Дворецков.

Николая Ивановича их возражения не поколебали. Возразил он с уверенностью:

– Таких на съезде немного. Это номенклатурные делегаты Сахарову хамили, но всем они ртов не заткнут. Трансляцию съезда смотрели миллионы людей, вся страна. Все воочию увидели ограниченность, агрессивность, бескультурье номенклатуры. От неё воротит уже даже иных коммунистов. Этот, из Свердловска, который за привилегии КПСС всё хлестал... В Госстрое ещё руководит...

– Ельцин что ли?

– Да, Ельцин. Вот по номенклатуре врезал – так врезал!

– Ой, тоже мне, правдорубов нашли. Несли там эти обличители на съезде чёрт те чего, – раздражённо подключилась к завязавшемуся вновь общему разговору Ермилова. – Все сегодня трибуны. Работать только не хочет никто.

Её стали с жаром оспаривать почти все.

– А вы это номенклатуре нашей скажите. Пускай она первой лопату в руки возьмёт, да пример покажет, – выпалил

Дмитрий Никитин. – А-то больно хорошо устроились при своих привилегиях. Сидят наверху и других погоняют.

– Да и работать-то как при творящемся абсурде? – поддержал Дворецков. – Довели вообще страну до ручки: дефициты, талоны – будто после войны живём.

Но Ермилова не отступалась от своего:

– Так вот она – война. Оглянитесь! Сумгаит, Тбилиси... Того и жди, где ещё полыхнёт. Развал один от всей этой болтовни.

Спор пошёл эмоциональнее, резче. На всякий пылко брошенный аргумент Ермилова изыскивала свой.

Валентина, смеясь, воскликнула с нотками таимой ревности:

– Да вас бы самих в депутаты! Разошлись... Мы ж не на съезде всё-таки.

– А что? Есть среди нас таланты. Справятся, – Сергей Миронов, запянев, подмигнул Павлу Федосеевичу, похлопал по плечу, перекинув руку через шею жены, Николая Ивановича.

Затем он встал, вытащил из кармана пачку сигарет, спичечный коробок.

– Ну что, ораторы, курить со мной кто пойдёт?

Курили, кроме него, трое. Миронов, Данилов и Дворецков с женой Аллой, ленивсь переобуваться, направились не на лестничную площадку, а на балкон. Тот был просторен и чист, ибо ни Павел Федосеевич, ни Валентина не имели

привычки сваливать на него старьё.

“Терпеть не могу этих вахлацких замашек. Балконы делают для того, чтобы выходить на них дышать воздухом, а не устраивать там пропылённую свалку”, – подчёркивал Павел Федосеевич неоднократно, не позволив даже когда-то держать там Валерьяну свой подростковый велосипед.

Чуть погодя вышел на балкон и Валерьян. Хоть он и не курил сам, но политические разговоры и, в особенности, споры пробуждали в нём интерес.

– Не перестаю поражаться: как образованные люди могут такую ересь нести? – сердито дымил Николай Иванович и в возбуждении даже постукивал кулаком по перилам. – Ну ведь всё же, всё же понятно! Отказ от шестой статьи! Реформы! Гласность! Только так можно преодолеть нынешний ма-разм. Так нет, не до всех доходит, оказывается! Им принципиальные депутаты правду о положении в стране рассказывают, а они уши затыкают, глаза закрывают и ни слышать, ни знать ничего не хотят.

Он вынул сигарету из тонкогубого рта, стряхнул на улицу пепел. Снаружи после жаркого дня потливо парило.

– “Работать никто не хочет”! Вот, оказывается, каков источник всех бед, – Николай Иванович нервным рывком ослабил галстук, расстегнул верхнюю пуговицу на воротнике. – Ещё б сказала, что народ в стране паршивый, без палки с ним никак.

Наталкиваясь на неприятие собственной точки зрения,

Николай Иванович всегда горячился, негодовал. Он искренне не мог взять в толк: как же остальные могут её не разделять?

– Да уж, как Нина Андреева какая-нибудь выступает, – кисло скривил рот Дворецков.

– Ладно вам на женщину нападать, – заступилась за Ерилову Алла. – Не до политики ей сейчас. Не видите что ли: жизнь у неё кувырком пошла.

Николай Иванович выпустил из ноздрей длинные дымные струи, мотнул головой.

– На неё лично никто не нападает. И вообще, причём здесь личное? Здесь вопрос принципиально стоит. В нём умолчаний и компромиссов быть не должно...

– Может она просто по-другому думает? Не как вы, – возразил Валерьян, которому безапелляционный тон Николая Ивановича сделался неприятен.

Тот, только-только поостыв, завёлся опять:

– Да невозможно сейчас по-другому думать, если голова на плечах есть! Если совести капля в душе осталась!

– Что ж, по-вашему, она без совести что ли?

Николай Иванович запрокинул голову, высасывая дотлевающий окурок, приподнял край верхней губы.

– Не знаю...

– Ладно вам, политически грамотные, – сказал Миронов примирительно. – Будто тем других нет.

Балконная дверь отворилась.

– Всё курите? – спросил, заглядывая на балкон, Павел Федосеевич. – Всё спорите?

В руках он держал гитару.

– Задерживаем концерт? – засмеялась Алла Дворецкова, сминая в захваченной из гостинной стеклянной пепельнице ещё дымящую сигарету.

Друзья Ештокиных, гости их дома знали, что Павел Федосеевич хорошо играл на гитаре и пел. И любил это делать во время застолий.

Стол в гостинной был уже прибран. Грязные тарелки, опустелые блюда вынесли в кухню, оставив только недопитые бутылки, фужеры и рюмки. Расставив при помощи Даниловой чайные чашки и блюдца, Валентина выставила на середину стола большой торт.

– О-о, – воскликнула Ирина Миронова, глядя на его затейливые кремовые завитушки.

Кажется, ей хотелось спросить, где же Валентина сумела такой купить, но задать прямой вопрос она всё-таки постеснялась.

– В “Центральном” взяла. Вчера, – сообщила та сама. – Сейчас их больше нигде не найти.

Мучительные нехватки приучили Валентину, как и многих, отбрасывать стеснение, когда дело касалось дефицитных продуктов.

Павел Федосеевич, усевшись возле стола и заложив ногу на ногу, начал издали:

– В былые времена, когда интеллигенция, образованные люди собирались вместе, их разговоры были утончённы. Люди обсуждали прочитанные книги, играли на фортепьяно, читали стихи...

– Резались в карты, – пробурчала Ермилова тихо и ядовито.

– К сожалению, за десятилетия убогой советской жизни многое из подлинной русской культуры было осмеяно и забыто. Сегодня я исполню романс “Белая акация” в честь моей супруги, нашей замечательной именинницы, – он выправил горделиво плечи, поднял подбородок. – Этот прекрасный романс когда-то пели русские аристократы, офицеры. Мы, интеллигенция, должны нести то высокое в себе.

Гости благостно заулыбались, закивали, явно сочтя сравнение лестным.

Павел Федосеевич чуть склонил голову, мелодично перебрал пальцами гитарные струны.

– Це-е-е-елую но-о-очь соловей нам насвистывал, го-о-ород молчал и молчали дома. Белой ака-а-ации гро-о-оздья душистые ночь напролёт нас сводили с ума-а-а...

Павел Федосеевич пел мощно, без труда беря высокие ноты. Притихшие гости устремили к нему кто задумчивые, кто взгрустнувшие глаза.

– Са-а-ад весь умыт был весенними ливнями, в тё-ё-ёмных оврагах стояла вода. Боже, каки-и-и-ими мы бы-ы-ыли наивными, как же мы мо-о-о-олоды были тогда...

Романс этот Валерьян давно знал наизусть, но слушал сосредоточено, глядя через голову отца, в раскрытое за его спиной окно. На улице посмурнело, ему было отчётливо видно мглистое небо, затемнённые верхушки деревьев, дома. Преддождевые порывы не успели ещё просквозить комнату, но Валерьяну сделалось вдруг неуютно и зябко.

Отец ещё продолжал петь, но Валерьян вдруг перестал его слушать. Что-то тревожащее, смутно недоброе начало чудиться ему во всём: в отчуждённо изящных словах романса, в разомлевших лицах гостей, в стремительно чернеющем небе...

IV

Дня через четыре Валерьян набрал номер Стаса. Тот подошёл к телефону не сразу, лишь полминуты спустя снял трубку.

– Привет! Не передумал ещё в Москву ехать? – спросил Валерьян.

Стас, что-то дожёвывая, пробасил:

– Я-то что... Главное, чтоб ты не передумал.

– А мне чего передумывать? Съездим.

– Съездим, – Стас, дожевывая, дал совет. – Ты только денег больше с собой бери. С нами один чувак будет. Он прошареный. Хорошо сечёт, где там чего достать.

– Музыку?

Стас, раздражаясь недогадливостью Валерьяна, цыкнул:

– Далась тебе музыка... Музыки этой – полный Арбат. Я про другое. Кроссовки там фирменные, джинсы, то-сё. Чувак с этим поможет.

– А-а, с этим, – Валерьян, подумав про свои шесть рублей, запнулся. – Ну, посмотрим. Так вы когда собираетесь? В субботу? В воскресенье?

– В воскресенье. На второй стартанём. От нас она в шесть пятнадцать уходит. В курсе?

– Не рано?

– Когда приедем, будет уже девять. Самое то.

Детальных планов на поездку Валерьян не строил. Послаться по Красной площади, по центру, завернуть на Арбат, раздобыть новые записи “Кино” или других рок-групп, выпить пива – на большее у него просто не хватало денег.

Влажным росистым утром воскресенья компания на вокзале собралась немалая. Со Стасом было двое приятелей, ушедших из их школы после восьмого класса – Вася Гришин и Серёга Мельница, прозванный так за длинные и разлапистые, будто лопасти ветряка, руки, две незнакомые Валерьяну девицы, представившиеся Таней и Женей, и тоже незнакомый, низкорослый, тонкий в кости парень, на вид постарше остальных.

– С нами? – пожимая руку, он деловито прощупал Валерьяна своими глубоко посаженными, подвижными глазами.

Тот кивнул.

– Закупаться или так?

Валерьян пожал плечами.

– Как выйдет.

– Да он от рока тащится, – снисходительно ухмыльнулся Стас. – От Цоя, от “Кино”.

Парня это не сильно вдохновило, и он, обернувшись к Стасу, произнёс сумрачно и тихо:

– Смотри, Тюлень.

Стас натужно улыбнулся:

– Да нормально всё. Свой пацан, говорю. Со школы знаю. Старшего парня звали Саней, или Кротом (Стас шепнул

Валерьяну, что кличка пошла от фамилии – Кротов), и держал он себя с остальными уверенно, даже властно, как во-жак.

– В первый давайте. Скорее в город выскочим, – распорядился он, когда зелёные вагоны электрички стали приближаться к платформе.

К электричке устремилась и другие пассажиры, запруживая перрон густой массой. Ребятам даже пришлось припустить трусцой, чтобы оказаться у первого вагона ранее остальных.

– Вовремя мы, – удовлетворённо заметил Мельница. – Вон набивается сколько.

Вагон заполнялся стремительно. Все места заняли в пару минут, вошедшим позже приходилось стоять в проходе.

– Кто в Москву, а кто на дачи, – сказала худолицая Женя, заинтересованно поводя вокруг длинноватым, заострённым носом.

– Ага, – подтвердил Гришин. – Час-полтора проедем – и рассосутся.

Плешивые мужики и крепкотелые тётки забрасывали на багажные полки обмотанные чехлами инструменты и грабли, закатывали под скамьи тележки. Старичок в выцветшей, линиялой кепке пристроился возле сидящего у прохода Валерьяна.

– Потеснитесь уж, ребята, – попросил он извинительно. – Я недалеко, до “Тридцать пятого километра”.

В дороге разговоры в их компании крутились вокруг нескольких близких тем: импортная одежда, видеомангитофоны, кассеты. Как скоро выяснилось, все в их компании, кроме Валерьяна, ехали в столицу, чтобы чего-нибудь там прикупить, а водящий дружбу с фарцовщиками и спекулянтами Кротов обещал отвести всех к нужному продавцу.

– У Серого затаритесь по самое не хочу. Придём в его закрома – глаза разбегутся, – нахваливал он знакомого перекупщика.

Таня и Женя желали разжиться джинсами, даже рюкзаки специально с собой прихватили. Гришин думал добыть адидасовские кроссовки и, может быть, какую-нибудь фирменную футболку, пошитую “не в совке”. Мельница, не жадный до тряпья, хотел отыскать записи западной эротики и китайских боевиков, которые можно будет гонять дома, на раздобытом старшим братом “видаке”. Стас рассчитывал и на импортную обувь и на “фильмец”, если тот окажется по-настоящему “клёвым”. Искать новые музыкальные альбомы никто, за исключением Валерьяна, не собирался.

– Но на Арбат-то мы хоть зайдём? – спросил тот опечаленно.

Кротов поглядел на него от окна, обнажил искривлённо расходящиеся друг от друга резцы:

– Да зайдём, зайдём. Не убежит никуда твой музон.

Настроение у Валерьяна подпортилось. Ему почудилось, что не только Кротов, но и остальные держат его за чудако-

ватого простофилю.

– Вам что, одно шмотьё в Москве надо? – не сдержался он.

Гришин с Мельницей переглянулись, Кротов, выдохнув с тихой брезгливостью, отвернулся к окну.

– Затаримся – загуляем, – подтолкнул плечом Стас. – Не кисли.

На Ленинградском вокзале им удалось проворно выбрать-ся из сутолоки, но прежде чем спуститься в метро, Кротов остановился возле телефонной будки. Радуюсь, что к ней нет очереди, он распахнул дверцу, но спустя секунду изругался – из телефонного аппарата была выдрана трубка, и размочаленный пучок проводков торчал прямо из привинченного к стене металлического корпуса.

– Козлы!

– Слышал, в трубках этих мембрана из какого-то редкого материала сделана. Вот и срезают, – сказал Гришин.

– Чтоб продать? – спросила Женя.

– Ага. Говорят, цеховики чего-то из него мастрячат потом.

Кротов оценивающе хмыкнул.

Чтобы позвонить, пришлось возвращаться обратно в здание вокзала и выстаивать очередь. В зале ожидания автомат был исправен.

– Алло! Серый? Я... Да, в Москве, – сообщал Кротов, по-звякивая пригоршней мелочи. – Да нормально всё, свои ребята. Так куда? А... а... Так... А оттуда? А, встретишь? А... ага... Ну о-кей... о-кей...

Отойдя от автомата, он объявил:

– Мотнёмся сейчас в “Беляево”. Там всё на мази, – Кротов ухмыльнулся. – Главное, чтоб было чем отбашлять.

– Отбашляем, – ухарски хлопнул себя по карману Гришин. – Пусть только будет из чего выбирать.

– Выберите. У Серого не какое-нибудь польское барахло. Он хоть штатовские джинсы выложит, хоть кроссовки фирменные от “Адидас”.

– “Берёзка” у него там целая что ли? – удивился Валерьян.

Кротов заложил за щёку язык, выгнул тонкие губы.

– “Берёзка”, “Берёзка”... Только торгует на деревянные и скидывает своим.

На выходе из станции метро их подждал сухощавый, в седоватой щетине мужичок. Его короткие, торчащие ёжиком белесые волосы казались припорошенными пеплом.

– Двинули? – деловито спросил он Кротова без лишних приветствий.

Через продолговатые, тенистые дворы Серый привёл всех к подъезду приземистой панельной “коробки”, по узкой полутёмной лестнице взбежал первым на третий этаж. Дверь квартиры была с виду самая обычная, обитая давнишней, местами пошедшей трещинками, тёмной от пыли клеёнкой.

– Сим-сим, откройся, – хохотнул Кротов из-за спины Серого, поворачивающего в замке ключ.

Неухоженная и явно нежилая однокомнатная квартира походила на склад. В прихожей вдоль стен громоздились пи-

рамыды картонных коробок, в комнате и даже на кухне, притиснутые один к одному, стояли заполненные доверху мешки, сумки, баулы.

– Выбирайте, – Серый по-хозяйски вытряхнул на диван содержимое пары сумок. – Куртки, плащи – это тоже всё есть.

Гришин, Мельница, обе девицы, даже Кротов, нетерпеливо толкаясь, принялись перебирать ворох набросанной одежды, прикидывать на себя джинсы, футболки, лёгкие спортивные свитера. Один только Валерьян продолжал бестолково топтаться в прихожей, с настороженным любопытством осматривая берлогу спекулянта.

– А кроссовки? – спросил Гришин.

Серый молча выдвинул из-под дивана деревянный ящик, набитый доверху всевозможной обувью. Пары ботинок, кроссовок, туфлей, кед лежали в нём вперемешку, связанные шнурками или промотанные друг к другу бечёвкой.

– Нехило! – воскликнул впечатлённый Стас.

Обувь и одежда были заграничные, потому их броские, яркие этикетки с непонятными словами из латинских букв, осматривали и ощупывали едва ли не дольше, чем сами вещи.

– Джё-ёр-дашш! – Таня, поглаживая пальцем пристроченную к джинсовой талии этикетку, прочла по слогам чудное название.

Джинсы были неновые, уже кем-то ношенные, но чтобы ку-

пить такие, она, как сама обмолвилась в электричке, откладывала со студенческой стипендии уже несколько месяцев.

– Это мужские, – потешливо фыркнул в кулак Серый. – Погоди, я женские принесу.

– Не, Wrangler круче, – Мельница, не смущаясь девиц, быстро спустил штаны и принялся примерять джинсы прямо при них.

Все, кроме Валерьяна, продолжали увлечённо копаться в грудях тряпья. Серый, не скупясь, подваливал на диван новые груды. Таня и Женя время от времени убегали на кухню как в примерочную. Протёртые, размахрявленные на коленях джинсы, узкие, на каблуках, туфли, облегающие юбки – всё они примеряли с какой-то нахлынувшей, будоражащей страстью, в количестве несоизмеримо большем, чем могли бы купить.

– О, в “Плейбой” тебя, на обложку, – подзадорил Кротов, когда Таня вернулась с кухни, обтянув ширококостные бёдра сильно укороченной, вызывающе красной юбкой.

Она хихикнула, скорее польщённая, но покупать такую всё же не стала.

Валерьян, бродя по квартире, задумчиво оглаживал подбородок.

– Ну, вы и скопили...

Серый встопорщил щетину в развязной усмешке:

– Спасибо зарубежным трудящимся.

Каждый выбрал себе обновы по вкусу и по кошельку.

Стас купил удлинённые, до колен, джинсовые шорты – чтобы их застегнуть на поясе, ему пришлось изрядно втянуть живот. Гришин без торга взял за пятнадцать рублей кроссовки, только-только отыскав в общей куче пару с надписями “Adidas”. Даже от пыли эти надписи аккуратно принялся носовым платком очищать, будто ему досталась не обувь, а редкая коллекционная монета. Мельница, одев джинсы, так их и не снял, нудно торгуясь с Серым о конечной цене. Таня тоже взяла джинсы – те самые “Jordache”, женский фасон которых у перекупщика действительно был, а Женя – туфли и матерчатую, с англоязычной надписью во всю спину, куртку. Даже Кротов, держащийся с Серым по-свойски, отдал три рубля за приглянувшиеся солнцезащитные очки. Один Валерьян, помяв бесцельно в руках сначала футболку, затем длиннополый кожаный плащ, ничего покупать не стал.

– Не прикололо что ли ничего? – спросил озадаченный Стас, когда они, выйдя из квартиры, сбегали все вместе по лестнице вниз.

Валерьян отвернулся к стене, неопределённо цокнул языком. От неотвязчивой мысли о всего нескольких лежащих в кармане рублях ему делалось неуютно.

V

К Арбату они отправились на метро, но, не доехав одной станции, поднялись наверх раньше: не на “Арбатской”, а на “Смоленской”.

– Отсюда всё начинается, – пояснил Кротов удивлённому Валерьяну на эскалаторе.

Он отворил дверь вестибюля и первым вышел на улицу.

– Наслаждайся, – бросил он, несколько картинно поведя по сторонам рукой.

Кротов на сей раз не ёрничал – диковинное стало бросаться в глаза сразу, только лишь они оказались снова в городе.

Уже поблизости от станции по обоим тротуарам сидели и стояли художники, расставив подле себя мольберты с холстами или листами ватмана. Любой желающий мог присесть подле них на приготовленный стул, заказать портрет, шарж. Завершённые работы красовались тут же – всякий рисовальщик желал и впечатлить ими гуляющий люд, и прельстить возможных покупателей.

Портреты, пейзажи, натюрморты...

Юноша в кепке, юноша в панаме... Девушка с длинными распущенными волосами, девушка с короткими волосами, девушка с волосами, собранными в пучок... Летний и зимний лес, лес сосновый, лес смешанный... Морская зыбь, золоченная восходящим солнцем, речной обрыв... Яблоки,

груши, арбузы, персики... Даже связка бананов с иностранной наклейкой.

Занятнее выглядели рисунки карикатуристов. Вдоль тротуаров протянулась целая их выставка, стягивая отовсюду народ. Не все карикатуры делали умелые художники. Вперемешку с ними на альбомных листах или даже на кусках картона выставляли свои аляповатые рисунки самоучки.

Карикатуры были злободневны, остры.

На одной изображался ресторанный ансамбль, за исполнение “Вечернего звона” требующий с клиента оплаты не деньгами, а талонами на масло.

– В точку, – одобрительно прокомментировал рисунок какой-то старик в вылинявшей военной рубаше. – Хоть и есть деньги, а не купить ни хрена...

На другой карикатуре школьная учительница, начертав на доске тему сочинения “Моя заветная мечта”, задрав указку, строго предупреждает класс: “Не вздумайте писать про колбасу”.

А вот измождённая свинья, символизирующая советскую экономику, глядит понуро на собственную тень, которая больше и тучнее её в разы. Намёк ясен всякому – покупатель и правда охотнее идёт сейчас к оборотистым дельцам чёрного рынка, чем в оскудевшие государственные магазины.

Кротов, а за ним и остальные, заухмылялись. Вспомнив про набитую обувь и одеждой квартиру спекулянта, хмыкнул, призадумавшись, в кулак и Валерьян.

Дальше пошли карикатуры уже откровенно политические. Эти были не менее язвительны и злы.

Валерьяну запомнилось изображение молодой пары, любующейся на морском берегу заходом солнца. На уходящем в воды красном диске было написано “КПСС”. И парень, обнимая подругу, с удовольствием замечал: “Как прекрасен этот закат”.

Двое пьянчуг за столом впали в раздумье, и один спрашивает у другого: “А ты знаешь какие-нибудь песни про капитализм”?

А вот и до Горбачёва сатирики добрались. Большеголовый, но щуплый телом, на коротких кривых ножках, с родинкой-кляксой на лысине, он скачет по трибуне мавзолея в балахоне скомороха и наяривает на балалайке: “Перестройка! Гласность! Плюрализм!”.

Здоровенные детины-иностранцы с перекинутыми через плечи ремешками фотоаппаратов, тыча в рисунок пальцами, щерили плохо выбритые рты и весело лопотали своими гортанными, нерусскими голосами:

– О! О! Гог’бачофф! О-о!

Таня, Женя, Мельница, Гришин, Валерьян, Стас, да и московский завсегдагай Кротов вертели туда и сюда головами. Волнующий дух Арбата пронимал каждого из них.

– Кру-у-уть! – выдохнул Мельница протяжно. – Во дают!

– Отрываются, ну... – бросил Кротов, будто бы со скрытой издёвкой.

То ли оттого, что уже здесь бывал, то ли ещё отчего, но он заглядывался на картины и карикатуры менее других.

Ряды карикатуристов, наконец, закончились. Впереди, запрудив всю центральную часть улицы, стояла плотная толпа. Из гущи её звучали митинговые речи:

– ...пока мы сами не начнём давить на номенклатуру, никаких перемен не наступит! Слышите? Даже и не ждите! Партаппарат будет душить все начинания на корню!

Валерьян приостановился, заслышав знакомое. Заслонённый от него чужими спинами оратор выкрикивал всё задирстее:

– Правильно на съезде народных депутатов говорили: только гласность, только публичное разоблачение деяний режима! Не заболтать, а разоблачить публично! Публично! Преступления сталинских лет срока давности не имеют.

– Чего там? – потянул шею Стас.

Он купил в ларьке мороженое в стаканчике и неаккуратно облизывал его, роняя под ноги густые белесые капли.

– Сталина костерят, – обыденно пояснил Валерьян.

– Ну и правильно, – одобрила Таня. – Деда у меня при нём посадили.

Чем дальше они продвигались по Арбату, тем чаще натыкались на стихийные митинги, нацепивших на шеи самодельные плакаты пикетчиков, просто каких-то странных, зачастую диковинно одетых людей, зачитывающих вслух свои прокламации.

Гришин взял из любопытства отпечатанную на машинке листовку, которую какой-то неопрятно небритый тип настырно совал всем проходящим.

– Уважаемые сограждане! – приосанившись, прочёл он вслух. – Мы, представители общественно-политического клуба “Демократическая альтернатива”, горячо призываем всех поддержать политику перестройки. Нельзя далее жить в атмосфере всеобщего лицемерия и лжи. Мы должны знать всю правду о нашем прошлом. Мы хотим самостоятельно строить будущее. Хватит отгораживаться от мира “берлинскими стенами” и “железными занавесами”. Много десятилетий подряд нам лгали о том, что стране будто бы угрожают какие-то “империалисты”. В действительности имперскую политику проводил Советский Союз, жестоко подавляя освободительные движения в Восточной Германии, Венгрии, Чехословакии, пытаясь поставить на колени страны Африки, Китай, Вьетнам, Афганистан. Силы реакции в стране ещё не побеждены. Партноменклатура мечтает вновь загнать всех в тоталитарный концлагерь. Свой манифест устами полоумной сталинистки Нины Андреевой она уже озвучила. Активные и равнодушные граждане, поддержите реформаторский курс! Формируйте в трудовых коллективах, по месту жительства или учёбы ячейки сторонников политики гласности и перестройки. Мракобесы не должны одержать верх! Мы верим, что они не пройдут!

Валерьян, заглянувший Гришину через плечо, заметил,

что под печатным текстом был от руки приписан адрес – на собрания клуба приглашали всех желающих.

– А чего, по делу, – оценил Стас. – Я – за.

– Я тоже, – с непринуждённой весёлостью подхватил Мельница. – Прикольная жизнь пошла.

Женя заинтересованно заглянула в листок.

– А эта... Нина Андреева... Она кто такая?

Валерьяну сразу вспомнился недавний разговор на празднике матери, вспомнился отец, негодующе машущий посреди кухни газетой.

– Письмо в прошлом году опубликовала: мол, она против перестройки и перемен, – пояснил он.

– Фу, дура!

Валерьян приподнял плечи, дёрнул уголком рта.

– Химию вроде в институте преподаёт.

Женя поняла на собственный лад:

– А, молодых воспитывать лезет. У нас в техникуме тоже такая гримза есть, историю ведёт. Задрала: то одета не так, то брови не покрась. И вообще, мы – зажавшиеся, войны не видели. Зато вот в её время было – у-у-уу!

Всевозможных ораторов, окружённых то плотными кольцами, то реденькими слушателями, выступало на Арбате множество. Каждый из них говорил о своём.

Лысенький старичок сердито ругал привилегии партийных работников, и лицо его довольно розовело всякий раз, когда толпящиеся вокруг принимались солидарно хлопать.

Долговязый остроплечий парень, взобравшись на перевернутый днищем вверх дощатый ящик, рассказывал про Прибалтику, про Народные фронты.

– В Латвии, в Литве, в Эстонии борются за демократию, за свободную жизнь! – убеждал он, картавя и нервно моргая. – Мракобесы и ретрограды обвиняют Народные фронты в национализме, но это – ложь! В них есть люди всех национальностей: и латыши, и литовцы, и эстонцы, и украинцы, и белорусы, и поляки, и русские. Свобода не имеет национальности. Она – одна на всех!

По поводу Прибалтики, однако, среди слушателей полного единодушия не возникло. Кто-то пытался возражать, даже подсвистывал неодобрительно. Люди сходились в спорах.

Среди всей этой митинговщины вдруг выныривал какой-нибудь поэт и принимался декламировать стихи. К такому тоже враз начинали лнуть.

Праздношатающихся и случайных прохожих то и дело останавливали, прося подписать всевозможные петиции: в защиту свободы слова, в поддержку деятельности каких-то движений со странными, чудными названиями, о публикации книг писателей-эмигрантов, с требованиями полного ядерного разоружения...

Старушка в чёрном монашеском одеянии, повесив на шею склеенный из картона ящик с надписью “На восстановление храмов”, собирала деньги. Когда в прорезанную щель бросали пригоршню мелочи или просовывали купюру, она разма-

шисто крестилась и кланялась в пояс.

Женя, увидев монашку, вдруг замешкалась и, поотстав от остальных, тоже бросила в её ящик несколько монет.

– Верующая что ли? – изумился Кротов.

– Бабушка у меня верующая, – Женя в неловкости потушила было взгляд, но через секунду вдруг глянула на него в упор. – А у неё не только в деревне, но и в райцентре церковь закрытая стоит. Свечку поставить негде.

Голос её неожиданно оказался напитан обидой. Кротов, опешив, умолк, даже перестал улыбаться.

Несколько минут они прошли в молчании.

– Где ж музыканты-то? – спросил затем Валерьян.

В глазах его уже рябило от арбатского мельтешения.

Среди окружающего их людского многоцветья музыканты не были ни самыми многочисленными, ни самыми заметными. Их сборище расположилось обособленно, даже скромно, возле поворота в какой-то узкий и неприметный закоулок. Здесь, на Арбате, их побрякивающие цепями кожаные куртки, накрученные на затылки платки-банданы, нечёсанные патлы не выглядели чем-то нарочито вызывающим, эпатажным.

Музыканты кучковались на тротуаре, возле угловой, уходящей в переулок стены. Некоторые сидели или даже развалились на асфальте, подложив рюкзаки или просто расстелив куртки. Кто-то нестройно и лениво брэнчал на гитаре. Девушка с густыми, переплетёнными ленточками волосами, подбегая к прохожим, молча улыбалась и просительно про-

тягивала к ним широкополую шляпу. На её выпуклом, рахитичном лбу синела нанесённая фломастером загогулина, отенённая подписью “Pacific”.

Гитарист, жмуря глаза, гнусавил:

Я объявляю свой дом безъядерной зоной...

Я объявляю свой двор безъядерной зоной...

Я объявляю свой город безъядерной зоной...

Разговор с музыкантами завязался у Валерьяна непринуждённо. Тем, похоже, было всё равно с кем и о чём говорить. Валерьян бросил девушке с исписанным лбом в шляпу несколько пятаков, спросил окончившего песню гитариста.

– А на кассетах чего есть? – спросил он, когда тот окончил песню. – Концерты, квартирники свежие...

Гитарист откинул от бровей чёлку, рассмеялся в щедрой беспечности:

– Да что хочешь! Каждый месяц с десятков свежих альбомов выходит. Нужен-то кто?

– Цой.

– Зашибись! – парень разухабисто хлопнул его по ладони пятернёй. – Сам “киноман”.

– Концерты вроде были у них недавно...

– Ещё какие! В Минске, в Алма-Ате. Класс!

– Записи-то есть?

– А-то!

– Покажешь?

Гитарист кивнул на расхристанного волосатого юнца, который, приоблокотясь у стены на объёмистый рюкзак, казалась, дремал.

– Если купить, то это к Дохлому. У него полный репертуар.

Валерьян подсел к нему.

– Концертники Цоя, слышал, новые есть...

Дохлый разомкнул один глаз, зыркнул меж век.

– Есть.

– Которые в Минске играли, в Алма-Ате...

Дохлый кивнул.

– А какие там песни?

Дохлый приподнялся, неспешно сунул руку в рюкзак. Порывшись, протянул Валерьяну кассету в замурзанной, вырезанной из тетрадного листа обложке.

– Минский сборник. Последний. В продаже ещё нет.

Валерьян просмотрел перечень песен, нанесённый на кассетную обложку вручную. Заинтересовался.

– За сколько отдашь?

– За “трёху”.

Дохлый спрятал отсчитанные Валерьяном деньги, с деловой живостью спросил:

– А кроме “Кино”? Много чего подогнуть могу: блэк-металл, панк. Заграничные, наши...

– Хватит пока.

– К осени новые альбомы пойдут. У Цоя, у Гребенщикова,

у Летова. Много ещё у кого... Приходи.

– Да я не москвич.

– Тогда приезжай. Пиплы за музоном к нам отовсюду слетаются. Иногда из таких пердей добираются автостопом...

Валерьян заметил, что товарищи его, равнодушные к музыке, сбились поодаль в кучку, переминались и поглядывали в его сторону с нетерпением. Он поднялся.

– Посмотрим. Бывай.

Стас ему ухмыльнулся:

– Отоварился, наконец. Меломан...

– Ага, купил цоевский концертник. А ты чего ж?

– А-а, наслушался, – Стас моргнул, тряхнул закинутым за плечи рюкзаком. – В Москве вон столько всего теперь! Чего на музяку эту башлы просаживать?

Ребята прошли Арбат почти до конца.

– Пожрать бы надо, – произнёс Гришин, оглядываясь по сторонам.

Было давно за полдень, и есть хотелось всем. Они свернули в переулок, затем ещё в один, вывернули на параллельную улицу... Подходящее кафе попало не сразу: одно оказалось закрытым на переучёт, в другом все места были заняты.

– Центр Москвы, а помереть от голода можно, – мрачно пошутил Гришин.

Только через несколько кварталов нашлось подходящее заведение, и гулять начали сразу в нём.

Мельница, ткнув пальцем в меню, сразу затребовал у официантки пол-литра:

– Обмоем! – хлопнул он по карману новых джинсов.

Гришин, Кротов, Стас с весёлостью подмигнули.

Таня с Женей от водки отказались, попросили принести вина. Валерьян, поколебавшись, тоже решил пить водку. Тянуть вместе с девицами вино ему показалось неловко.

Пилось всем с развязной лихостью, закуску принесли обильную. Разговор быстро сделался хаотичным.

– Жирует Москва! – восклицал взволнованный Гришин. – Живёт!

– И мы заживём, погоди, – заверял Кротов. – Так всегда бывает: сначала здесь, потом у нас.

Мельница, примостившись к Тане, уговаривал её попробовать водки. Та долго отнекивалась, но потом, когда вино почти уже вышло, всё же решилась.

Кротов заказал вторую бутылку. Её пили вшестером. Водку пила уже и Женя, приехавшая к тому Гришиным. Громкий сбивчивый говор, объятия с девушками, пьяный смех...

Вывалили из кафе в вечернюю полутьму горлопанящей нетрезвой гурьбой.

– А двинем на Красную площадь! – крикнул Мельница. – Рядом же.

Красная площадь была многолюдна. Светились этажи ГУМа, рубиново мерцали звёзды кремлёвских башен, на мавзолей глазели обвешанные фотоаппаратами иностран-

ные туристы... Оказавшись напротив охранявших ленинский склеп часовых, Мельница выкатил колесом грудь, задрал подбородок, затопал ногами, пародируя строевой шаг. Его каблуки гулко ударили об отполированные камни брусчатки.

– Так за тебяяя, родная! – запел он разухабисто.

Туристы обернулись, растянули в глуповатых улыбках рты. Кто-то наставил на марширующего Мельницу фотоаппарат. Дежуривший неподалёку милиционер насуплено смотрел на него из-под козырька фуражки.

Мельница остановился, вытянулся в струнку, отдал пионерски салют.

– Великому Ленину – слава! – выкрикнул он, будто специально дразня и милиционера и часовых.

Милиционер подзывающе замахал рукой, зашагал к нему.

Кротов пихнул Мельницу кулаком в спину.

– Валим!

Они с хохотом побежали мимо кремлёвской стены, в сторону Васильевского спуска. Милиционер смотрел им вслед исподлобья, но с места не двинулся.

VI

Ештокины не ложились спать, ожидая из Москвы сына. После десяти Валентина занервничала, а к полуночи уже не находила себе места:

– Он что там, до последней электрички проболтаться решил? Вот тоже гуляка!

Она не привыкла к столь долгим отлучкам Валерьяна.

Павел Федосеевич был более благодушен. Лет двадцать пять назад, когда он, сам студент, жил в институтском общежитии, деля комнату с тремя сокурсниками, то в выходные нередко гонял с товарищами в Москву. Их стипендий на то хватало. Они даже облюбовали один ресторан на улице Горького, куда заявлялись ватагой – все кузнецовские, студенты-стипендиаты.

– Брось, – успокаивал он жену. – Приедет на последней, ночной. Не всё ж ему у нас киснуть.

– Киснуть... – ворчала Валентина. – Поговорил бы с ним лучше, когда вернётся. А ты, выходит, поощряешь...

Павел Федосеевич, лinya к передающему последние известия радио, щурил уголки глаз:

– Не гунди.

Однако когда, наконец, ближе к двум раздался звонок, и окосевший, дышащий перегаром Валерьян ввалился в квартиру, лицо Павла Федосеевича вытянулось. Он впервые ви-

дел сына сильно пьяным.

– Эх же тебя, а, – обескуражено закачал он головой.

Валерьян замычал, пытаюсь проскользнуть мимо родителей, но запутался ватной ногой в половике и чуть не упал.

– Ты что ж, упился совсем?! – гневно и испуганно вскричала мать.

Добредя до своей комнаты и кое-как раздевшись, Валерьян лёг на кровать и почти мгновенно уснул, вконец прибитый выпитым в электричке, уже после застолья, пивом.

Родители же долго ещё переговаривались на кухне.

– Господи, да его ж в вырезатель могли забрать! Ещё бы и на факультет сообщили. Вот позор был бы, а! – восклицала, не находя успокоения, Валентина.

– Сейчас каникулы, – скрёб за ухом отец. – Главное, чтоб не увлекался. Любой парень с друзьями загулять может. Сильно скандалить начнёшь – только навредишь. Будет уже из противоречия, наперекор.

Мать его доводы воспринимала слабо.

– Что за друзья-то такие у него появились? – горячилась она. – Прямо сбивают с пути.

– Не драматизируй. Проспится – сам расскажет.

– И скрытный какой стал... Спрашивала накануне, зачем его туда несёт – так внятно и не объяснил ничего.

– Несёт – как и всех. Развлечения, столица... Надо в чем-то его и понять. У нас в Кузнецове молодёжи скука.

– А от водки веселье, да? – ощерилась Валентина. – Будто

сам не заешь, чем такие пьяные компании закончиться могут...

– Валя!..

Пререкания Валентина разбередили в душе Павла Федосеевича больное...

С самой свадьбы их, с того дня, как не имеющий в Кузнецове своего угла Павел Федосеевич с немногими пожитками, тремя десятками книг и несколькими папками рукописей въехал из аспирантского общежития в квартиру её родителей, жизнь Ештокиных завернулась вкривь.

Характерами с родителями Валентины, особенно с матерью, он не сошёлся. Её грубоватая, властная мать, железнодорожный диспетчер, привыкшая повелевать домашними, точно машинистами поездов, попыталась направить жизнь Павла Федосеевича согласно своему разумению.

“Вот тоже засел писанину писать! И, главное, проку? Будто зарплата от того сильно прибавиться”, – пилила она сначала дочь, а затем и зятя. Отец Валентины хоть и держался с Павлом Федосеевичем мягче, в глубине уважая его аспирантский труд, но вслух супруге не перечил.

Несладко оказалось Павлу Федосеевичу в примаках.

“Ну такая вот у меня мама. Характерная! Что ж теперь поделать?”, – оправдывая не то себя, не то её, горестно повторяла Валентина.

Через полгода им пришлось съезжать, и пока Павел Федосеевич не получил квартиры, они скитались по съёмным

комнатам.

Родом Ештокин-старший происходил из деревни, до которой даже из райцентра надо было добираться не менее трёх часов по ухабистой, еле проходимой в распутицу дороге. Отец его воевал всю войну и, демобилизовавшись, вернулся домой в конце сорок пятого, но израненным, в шрамах и рубцах. Отставного старшину вскоре выбрали колхозным председателем. Он не был этим особенно горд, поскольку знал, что и выбирать было, по сути, не из кого. Из всех деревенских мужиков с фронта, кроме него, вернулись всего только трое, да и из них двое калечные: один на протезе, другой – без руки...

Павел Федосеевич с юных лет слыл парнем толковым, или, как любили говаривать в их округе, башковитым. Потому к окончанию школы (с пятого класса он учился в райцентре, жил у тётки, материной сестры) многие прочили его в вуз. Впрочем, и сам Павлентий (так шутливо называли его тогда родители и родня) к тому времени возжелал того же. Он знал, что ему, образцовому комсомольцу, сыну фронтовика, парню из колхозной глуши, полагались при поступлении известные льготы.

Попасть на биологический факультет областного пединститута для Павла Федосеевича большой сложности не составило. Экзамены он сдал. И обнаружив свою фамилию в списке зачисленных, принял это спокойно, как должное, как то, что и должно было обязательно, неминуемо произойти.

Учёба давалась ему и здесь. Павел Федосеевич ходил в твёрдых хорошистах, временами вырывался в отличники. К четвёртому курсу он твёрдо решил, что пойдёт далее в аспиранты. Такое будущее представлялось ему более привлекательным, нежели распределение в школу куда-нибудь в глушь.

Отлучка в армию сроком на год виделась Павлу Федосеевичу неприятной, но неизбежной помехой. Но служба, вопреки ожиданиям, не оказалась в тягость. Город Баку, куда его направили, оказался красив и не по-азиатски ухожен, магазины его изобиловали продуктами, в чайных и кафе подавали множество затейливых сладостей, о которых он прежде читал лишь в романах о Востоке, жители казались радушными и улыбались не по-русски обильно и много.

После армии, однако, всё пошло менее гладко. Устроившись лаборантом в их областной филиал знаменитого в Союзе НИИ растениеводства имени Николая Вавилова, Павел Федосеевич промыкался в заочной аспирантуре три года, однако и к моменту её окончания кандидатская диссертация дописана не была. Научный руководитель, пожилой коротышка-профессор с одутловатым, нездорово припухшим лицом, был придирчив и педантичен. Правил, разнося написанное в пух и прах, требовал переделать, переписать, уточнить данные. Переиначенное и уточнённое затем вновь разносил и вновь отправлял на доработку. Павел Федосеевич, словно исследователь-полевик, колесил по окрестным обла-

стям, выискивая по колхозам нужные сорта овощей, часы и часы просиживал в лаборатории, сличая их семена под микроскопом.

Диссертация была им защищена незадолго до тридцатилетия, без блеска. Оппонент работу серьёзно пощипал, выискав в ней множество недочётов. Раскритиковал даже саму методику сбора данных. Профессор-руководитель сильной речи в защиту не произнёс, ограничившись сдержанной похвалой и дежурной фразой о том, что “автор заслуживает присуждения степени кандидата наук”. Сам же он, разнервничавшись, на вопросы учёного совета отвечал нескладно и невпопад. Трое из тринадцати при голосовании бросили в корзину чёрные шары.

Перед оглашением итогов Павел Федосеевич, случайно услышал в коридоре обрывок разговора председателя совета со своим научруком, который его одновременно и разъярил и бросил в дрожь:

– Мы-то балбеса вашего пожалели, ладно. Пропустили его писанину. Но вот пропустит ли ВАК? – утаптывал председатель совета только что защищённую работу. – Считаю, его вообще не стоило сюда выпускать.

На банкете в честь состоявшейся защиты Павел Федосеевич не выглядел весёлым. Мысли в голову лезли сумрачные. “Хрычи-маразматики! Сами-то семена по колхозам когда в последний раз собирали?” – думал он.

Аттестационная комиссия диссертацию в итоге утверди-

ла, но несколько месяцев Павел Федосеевич прожил, не находя себе места. Но и после того, как всё разрешилось благополучно, и ему уже официально была присвоена учёная степень кандидата наук, неприязнь к “хрычам” не исчезла. Он стал склонен питать ко всякому начальнику враждебность, видеть в нём недоброжелателя, замшелого ретрограда.

Из самого Павла Федосеевича начальник тоже не вышел. Хотя поначалу он в своём НИИ старался себя показать, не отлынивал от общественных нагрузок, подал заявление в КПСС, раздумывал даже, не взяться ли за докторскую. И вроде даже всё шло к тому, что его действительно заметят, выдвинут. Два года подряд директор института назначал его начальником полевых экспедиций.

Однако сломал всё глупый, идиотский какой-то случай.

Экспедиторские шофёры познакомились на речном пляже с девицами. И в воскресенье, накануне выезда, они втихаря выгнали из гаража институтский грузовик и укатали с девицами далеко за город, на Волгу. Место выбрали нарочно пустынное, откуда до ближайшей деревни километров семь. В город рассчитывали вернуться вечером, однако произошло несчастье.

Сюда же, на дикий уединённый пляж, прикатили на “буханке” человек восемь шабашников – то ли с Кавказа, то ли ещё из каких-то южных краёв. Нахлеставшись водки, озверев от созерцания плескавшихся с беззаботностью полураздетых женщин, они ближе к вечеру всей оравой подвалили

к струхнувшему шоферу и сказали им напрямик: “Хотим жэнщин!”.

Одного шофёра шабашники уложили наземь сразу же, впечатав в челюсть железный кастет. Другой ринулся к раскрытой кабине грузовика, выхватил монтировку, но его, обступив толпой, измолотили до полусмерти.

Перепуганных, истошно визжащих девиц насиловали поскотски прямо на пляже, с ненасытностью утоляя многодневный плотский голод.

Злодейство не сошло шабашникам с рук – двоюродным дядей одной из девиц оказался третий секретарь обкома соседней области. Разыскали их быстро, судили сурово, без проволочек. Но параллельно с тем своё разбирательство завертелось и в растениеводческом НИИ. Директор лишился должности. Парторга – а оба шофёра были партийными – сняли. Павлу Федосеевичу, как начальнику той злосчастной экспедиции, вlepили выговор.

Ему бы покаяться, признать недогляд...

Однако он, сочтя взыскание несправедливым, стал возмущаться, спорить, доказывая, что не знал о шофёрской затее и в выходной день знать не мог. Выговора, разумеется, не сняли, и строптивость его вышла боком.

– Нашли стрелочника, сволочи, – оскорблённый, выговаривался он перед домашними. – Сами понабирали разной шушеры в штат...

Выдвигать Павла Федосеевича перестали. Новый дирек-

тор к нему не благоволил, новый парторг тоже: руководителем экспедиций его больше не назначали, в партию так и не приняли, даже должность ведущего научного сотрудника не давали.

И начала в душе Павла Федосеевича копиться несвойственная ему прежде желчь. Он ёрничал и злословил за спиною начальства, крыл почём свет почти всякого человека грубого ручного труда: слесаря, водопроводчика, заводского рабочего, словно бы виня всех их в своей незадавшейся карьере. “Шоферюга”, “слесарюга”, “пьянчуга”, – такими словечками Павел Федосеевич сыпал обильно, вкладывая в них всё презрение, всю брезгливость своей уязвлённой натуры.

– Учись, Лерик, как следует. Тогда после школы в институт поступишь, – наставлял он сына. – А не поступишь, будешь вон как они – ковыряться в грязи.

И, кривя гримасу, Павел Федосеевич указывал из окна на двор, среди которого, раздолбав ломами асфальт и выкопав глубокую, по грудь, канаву, чумазые, в земле и глине рабочие меняли канализационные трубы.

VII

Когда следующим утром Валерьян, с гулко гудящей головой, с тошнотворным привкусом во рту, выбрел на кухню, елозя пятернёй всклокоченный затылок, не спавшая полночи мать не имела сил долго его ругать:

– Что ж ты устроил-то вчера, а? Мы ж волновались, ждали.

А ты... – кратко проговорила она с горьким упрёком.

Валерьян ощущал стыд и потому, быстренько налив себе чаю, ускользнул прочь. Малопривычного к попойкам, его мутило, и даже кусок хлеба не лез в рот.

– Рассказал бы хоть, что делал в Москве, – бросил вдогонку отец. – В газетах пишут, бурлит.

Чуть-чуть придя в себя, он сосчитал деньги. Их осталось менее полтинника, остальное было потрачено в Москве без остатка.

Валерьян запрокинул голову и, блуждая взглядом по низкому, в неровностях, потолку их типовой панельной квартиры, припоминал, на что ж улетело всё остальное. Дорога в электричке, дорога на метро, кассета, гулянка в кафе...

“Это Москва...”, – любил глубокомысленно приговаривать в подобных случаях отцовский товарищ Сергей Мионов.

Тот с женой нередко наезжал в столицу, чтобы купить какую-нибудь нужную, но внезапно исчезнувшую из продажи

мелочь.

Валерьян приуныл. Следующая стипендия – через полтора месяца, а просить у отца с матерью представлялось теперь не с руки. Он знал, что те из его институтских приятелей, что остались в городе, отдыхали весело. Приглашали девушек в кинотеатры, бродили допоздна в городских парках с гитарами и вином...

Вечером у него произошёл разговор с родителями.

– Я не против того, чтобы ты проводил время с друзьями, чтобы ты даже выбирался с ними в столицу, – подчёркивал Павел Федосеевич, начав вполне миролюбиво. – Но ты должен понять и нас. Ты не предупреждал, что вернёшься так поздно...

– Тебя же, пьяного, в милицию могли забрать, – подключалась Валентина. – Да и электрички эти поздние... В них, говорят, творится чёрт те чего: хулиганы, шпана...

– Да нормально там всё, в электричках. Люди как люди, – виновато отнекивался Валерьян.

Он испытывал за вчерашнее стыд, натужно и неестественно улыбался, отворачивал лицо.

– Что вы там делали-то столько времени? Ведь на целый день, считай, укатил... – настойчиво допытывался отец.

– Гуляли...

– Где?

– Везде. По Красной площади, в центре...

– На Арбат не заходили?

– Заходили.

– И что там? – Павел Федосеевич, любопытствуя, подался вперёд. – Действительно “гайд-парк”, как пишут?

– Ага. Художники, ораторы. Всё свободно...

– Так ты б лучше их послушал, чем сразу пить, – попрекнула сварливо мать.

– Там столько всего говорили, что в ушах звенело.

– В ушах у него звенело, – язвительно изогнул уголки рта отец. – В кабаке б поменьше усердствовал.

Валерьян тёр шею, закусывал костяшки кулака. Колкости отца уязвляли болезненно, точно жалящие острия.

Со следующей недели он взялся бегать вечерами на городском стадионе. Бег, в отличие от массивных гантелей и штанг, не столь быстро утомлял его лёгкие, сухощавые мускулы. Бегалось Валерьяну в охотку. Неспешной трусцой он одолевал пять-шесть кругов, затем, одеревенев телом, переходил на шаг, глубоко выдыхал, протяжно поднимая вверх, а затем резко роняя вниз руки. Пройдя полкруга-круг шагом, он снова заставлял себя шибче перебирать ногами, снова бежал, упрямо глядя перед собой, стараясь не потерять быстро тускнеющую в сумерках разметку беговой дорожки.

– Измучился, наверное, весь, – встречала его, пропотелого, в дверях озабоченная и заметно смягчившаяся к нему мать.

Затем Валерьян поехал в деревню, к её родне.

Двоюродная тётка, вдовая и бездетная, жила там одна,

давно, но тщетно зазывая на лето Валентину с мужем. Вместо них на остаток каникул туда решил отправиться Валерьян. Скучно становилось в Кузнецове к началу августа – большинство его приятелей по факультету тоже куда-то разъехались.

Деревня, когда-то немалая, в шесть десятков дворов, теперь оживала лишь в это время, заполняемая съезжавшими сюда в отпускные недели дачниками, потомками и родичами старожилов. Каждый из них проводил здесь время, как умел, ища удовольствия кто на пропечённом солнцем речном песке, кто в росистом грибном лесу, кто просто убивая дни в вальяжной, дремотной праздности.

Почти каждое утро Валерьян, надев резиновые, до колен, сапоги и натянув, чтобы не прозябнуть, шерстяную фуфайку, выходил из дома с объёмистым рюкзаком на плече и, быстро проходя деревенскую улицу до конца, шагал утоптанной в травостое тропой дальше, к лесу.

Истосковавшаяся по родным людям тётка поначалу взялась опекать городского гостя. В первые разы даже отправлялась с ним за грибами сама, тревожась, что тот один заплутает, затеряется в глуховатом, многокилометровом лесном массиве.

– Вот здесь, в этой прогалине, всегда сыро – здесь всегда моховиков наберёшь. А вот там, дальше, пойдут пригорки сухие – там боровики, белые ищи, – наставляла она, водя Валерьяна по самым добычливым местам.

Поиск грибов будил в Валерьяне азарт. Смущённый таким сопровождением, он вскоре раздобыл компас и дорогу научился находить сам, уверенно и быстро.

– Теперь точно не потеряюсь, – заверил он тётку. – И дойду – и вернусь.

Тётка внимательно перебирала собранные им грибы. Если попадался среди них несъедобный, она, беря его кончиками пальцев за ножку, принималась обстоятельно объяснять Валерьяну приметы, должны помочь ему распознать его в следующий раз.

– Вот смотри: у ложного шляпка острее, – тётка для убедительности брала в другую руку другой, очень похожий по виду гриб. – И бахрома на ножке. Запомнил?

Втолковывать у тётки получалось хорошо, Валерьян схватывал быстро.

Перебранные грибы разрезали на части, нанизывали на верёвочки, развешивали в сеннике. Подсыхая, они наполняли его приятным, будящим аппетит запахом.

Но сильнее грибов влекли Валерьяна из дома влажные предсветные сумерки, поляны в молочном тумане, коричневеющие стволы сосен, лёгкий, дразнящий дух утреннего леса.

Он добирался по тропе до опушки, затем, помня приметы, шагал с километр напрямик, сворачивал в прогалину, к болотистому моховищу. Ноги его по щиколотку проваливались в мягкую сырть мшистой почвы, оставляя вытянутые, за-

тягиваемые влагой следы.

Валерьян пробирался по моховищу с каждым разом всё увереннее, энергично раздвигая палкой мелкий корявый кустарник. Сапоги его мокро блестели, холодя ступни и лодыжки, штаны сырели, плечи зябко вздрагивали в тенистых местах, но поворачивать обратно не тянуло. Временами он доставал компас, сверяя маршрут, но затем снова шёл дальше, совсем не задумываясь, сколько же ему, усталому и нагруженному грибами, придётся затратить на обратный путь. Ходилось Валерьяну по окрестным лесам вдохновенно. Даже воспоминания о Москве как-то незаметно поблекли. Союзная столица с её ушлыми спекулянтами и крикливой арбатской толчейей представлялась здесь неудобной и чуждой, и он не испытывал от того удивления.

– Эх в лес-то твой зачастил, – подметил зашедший однажды к тётке в гости пожилой сосед. Затем, повернувшись к Валерьяну, подмигнул. – Дорвался, городской.

К двадцатым числам августа деревня начала быстро пустеть, дачники, прощаясь с роднёй, разъезжались. Засобирался в город и Валерьян.

– Не спешил бы так, – вздохнула тётка, расправляя на окне белые, в незатейливой вышивке, занавески. – Не завтра ж тебе на занятия.

На улице было пасмурно и предосенне прохладно. Ей опять предстояло жить здесь одной – в лучшем случае, до следующего лета.

Валерьян, точно винясь, шмыгнул носом.

– Пока приеду, переведу дух, вспомню конспекты...

Он в последние полторы недели несколько раз ходил на почту и звонил домой. Соскучившаяся мать, настойчиво зовя обратно, напоминала:

– Загостился ты там что-то, Лерик. Знай приличия. Давай уж к нам.

При прощании тётка всунула ему в руки набитую высушенными грибами сумку.

– Да не ем я их теперь, доктор не велел, – объявила она, рубя на корню возражения. – Тяжкая еда больно.

Валерьян уезжал из деревни пристыженный. Он и не догадывался, что тётка нездорова желудком.

VIII

В Кузнецове Валерьян пробыл недолго – уже в первые дни сентября весь их курс, даже не допустив до первых лекций, заслали в колхоз, на “картошку”. Ранее он в таких поездках не бывал – в прошлом году слёг накануне с ангиной. Пока поправлялся – курс его изо дня в день уже полторы недели как трудился в полях, и начальство факультета, первокурсников толком ещё не знавшее, тормошить Валерьяна не стало.

– Раз не требуют, так и ты о себе не напоминай, – советовал отец. – А спросят потом на факультете, простачком прикинься: мол, вы сами не звонили, не вызывали.

Город снова начали заливать дожди, и ехать в глушь, чтобы возиться в грязной жиже, выбирая картошку, Валерьяну не хотелось. Отцовскому совету он тогда внял. Однако теперь он думал про колхоз с другим настроением. Ему представилось: что, если Инну тоже отправят убирать картофель в те же края?

Окрылённый, он даже невзначай поинтересовался перед отъездом у одного из преподавателей: направят ли всех в один колхоз, или же их пофакультетно и погруппно разошлют по разным?

– Смотря сколько там работы для нас, – развёл тот руками. – Могут и по разным раскидать. Будем тогда в выходные друг другу в гости ходить: математики – к филологам, физи-

ки – к химикам.

Задумчивый Валерьян отправился домой собирать вещи. “На картошке“, как им сказали, предстояло провести месяц.

Родители ворчали, раздражаясь от университетских порядков.

– Вот тоже молодёжи устроили жизнь! Из года в год гоняют, точно рабов на плантацию! – ругался отец. – Кто объяснит: с какой стати студенты должны этот чёртов урожай убирать? Если в колхозах работать некому, то пускай нанимают работников за плату, – он сердито цыкал, нервно постукивал пальцами по столу. – Нет, всё бы нашим воротилам поэксплуатировать людей за дарма.

– Нам с этой картошкой житья не давали, и Лерика теперь мучают, – суетилась огорчённая мать. – А что если он там простудится, заболит?

Собственные поездки в колхоз вспоминались ей с тягостью. Всякий раз она там простужалась и потом подолгу хворала, кашляя и страдая горлом.

– Там же и врача не дозовёшься. Случись что, так надо ехать чёрт знает за сколько километров в амбулаторию, в райцентр.

Но Валерьян, к её удивлению, не выглядел унылым.

– Не простужусь, – скатав, запихнул он в рюкзак свитер и пару тёплых носков. – В сентябре-то ещё без холодов...

– Ты ноги главное, ноги береги. Слышишь? От ног идёт вся простуда.

– Не промочу.

К семи утра весь их курс вместе с несколькими приставленными на время поездки преподавателями собрался возле главного университетского корпуса, на автобусной остановке. Студенты, нагруженные разбухшими котомками, несмотря на предстоящую долгую отлучку из города, были бодры, даже улыбочивы. Девушки, толпясь кучками, тихонько хихикали, топя в ладонях свежеумытые лица. Пара ребят, дурачась, затеяли возню, стремясь повалить друг друга на асфальт. Только преподаватели были хмуры, зябко поёживались и в ожидании автобусов нетерпеливо поглядывали на часы.

К половине восьмого, опоздав на полчаса, подкатили два облупленных “пазика”.

– Математики, первая и вторая группы – в первый автобус. Физики, первая – тоже в него, – распорядилась голосистая дородная тётка.

Валерьян, как и вся его вторая группа, послушно полез в салон. Воздух в нём стоял спёртый, пахло пропылённой дерюгой, машинным маслом, прелостью затёртых сидений. Куратор принялся раздражённо толкать оконное стекло над своим сидением, но оно, словно сросшись с окантовывавшим раму резиновым шнуром, не двигалось.

– Кто-нибудь, впереди! Отойдите. Задохнёмся ведь, – крикнул он.

Ехали долго, более четырёх часов. Окраинные широкие

проспекты сменились протяжёнными глухими заборами заводской зоны, затем исчезли и они. Шоссе прорезало поля, в глубине которых копошились какие-то приземистые, угловатые машины.

– Пашут, – хмыкнул кто-то.

– И нас припашут. Не переживай, – хохотнул одногруппник Валерьяна Павел Кондратьев.

По салону покатались ершистые шутки. Ехавшая с ними вместе голосистая тётка, преподавательница политэкономии Мария Никитична, одёрнула студентов, будто на маленьких:

– Вас не припахивают, а просят помочь с уборкой урожая, – сидя на высоком, помещавшемся над колесом сидении, наставительно проговорила она.

– Помочь... ага... А мы типа отказаться можем... – проворчала, отвернув подбородок к плечу, сидевшая перед Валерьяном Марина Спицына.

С шоссе свернули часа через полтора. Дорога пошла похуже, автобусы встряхивало на каждой выбоине. Затем, когда асфальт закончился, и они запетляли по изрытой залитыми водой ямами грунтовке, трясло уже почти непрерывно. Пассажиров кидало то в сторону, то вперёд, клоня то к спинке переднего сидения, то к автобусной стенке. Мария Никитична утробно охала, вцепившись в поручень.

Несмотря на тряску, ехали весело. Студенты то перекидывались шутками, то затягивали разные песни. Саня Вилков, актёр драмкружка и комсорг, пытался чего-то брэнчать на

взятой с собой гитаре. Во время непродолжительной остановки в каком-то селе Кондратьев добежал до магазина и притащил оттуда два полных кулька яблок. Студенты с аппетитом грызли зеленоватые, с красноватыми прожилками кругляши и швыряли огрызки через окно.

До места добрались к полудню. Всех высадили возле одноэтажного и приземистого здания сельсовета. Пока студенты топтались подле автобусов, разминая ноги, или уходили бродить по округе, разыскивая туалет, Мария Никитична с куратором совещались с вышедшим из здания коротконогим, облачённым в выцветший пиджак мужичком. Мария Никитична и куратор, судя по жестам и выражениям лиц, что-то требовали от мужичка, на чём-то настаивали. Тот высоко пожимал плечами, указывая на уходящую от сельсовета деревенскую улицу.

– Да как за всеми ними уследишь на частных квартирах? – слышал Валерьян возмущённое гудение Марии Никитичны. – Отвечаем-то мы за них, а не вы.

Как оказалось, преподаватели рассчитывали, что приехавшую на убор картошки молодёжь поселят где-нибудь в здании сельского клуба или, на худой конец, пустующего барака. В прошлые разы так и бывало. Однако в этот раз колхозный председатель объявил, что свободных помещений нет, часть клуба и вовсе переоборудовали под склад, потому студентам предстоит прожить месяц в домах колхозников, по два человека на дом. Он уже, оказывается, и с хозяевами до-

говорился.

– Нет, ну что за дурдом, а! – воскликнула в сердцах Мария Никитична, поняв, что настаивать далее бессмысленно. – Ведь было ж раньше всё организованно, всё как надо.

– Чего кипятитесь? – миролюбиво увещевал её председатель. – Им же наоборот – лучше там будет. Дома жилые, кровати чистые, не какие-нибудь там продавленные раскладушки.

Заселялись быстро. Колхозный председатель дал в провожатые бойкую, говорливую бабёнку, не то бухгалтера, не то секретаря, и она повела студенческую ватагу по улице. Остановившись то у одного, то у другого дома, она стучала в окно и зычно заявляла выглядывающим наружу:

– Здорово! Помощников принимайте. Приехали.

А затем, оборачиваясь к толпящимся за её спиной студентам, вопрошала:

– Ну, кто здесь пожить хочет? Два человека на дом. Выходи.

Порой возникали длительные заминки – студенты, тоже не ожидавшие такого поворота, не успели условиться между собой, кто с кем будет жить. Рядом суетилась Мария Никитична, прямо на ходу, карандашом, отмечая на листке бумаги, кто к кому заселяется.

Парней в группе было одиннадцать человек – нечётное количество, оттого Валерьян, не слишком старавшийся пристроиться к кому-нибудь сам, остался в итоге без соседа.

– А что, третьим мне ни к кому нельзя? – огорчённо спросил он у провожатой, потому как вид квартирной хозяйки – неприветливой, измождённой, и, наверное, пьющей бабы, его оттолкнул.

– Нельзя. Мы уж тут всё заранее решили. Один поживёшь пока. А если кто ещё из ваших подъедет – подселим.

Колхозники, соглашавшиеся разместить у себя студентов, получали небольшие денежные выплаты за гостеприимство. Списки хозяев утверждались заранее, оспаривать их смысла не имело.

Валерьян нехотя вошёл в дом и снял с плеч рюкзак.

IX

В колхозе “Золотая нива” – он, как узнал Валерьян, назывался именно так – разместили все группы с их курса. Математиков – прямо здесь, в селе Станишино, где располагался сельсовет и правление колхоза, физиков – в Емельяново, по соседству.

Студентов других факультетов развезли по дальним деревням, а кое-кого – и по другим колхозам. Утром, в полях, Валерьян примечал, как вдали, в километрах, на тёмных, распаханых картофелеуборочными машинами, плавно выпуклых прямоугольниках шевелятся и мельтешат пёстрые точки.

– Студентов-то сколько к нам понагнали. И ведь работают, не сачки, – крикнул в кулак мужик-бригадир.

Валерьян внимательно посмотрел в их сторону из-под ладони. Там, как проведали уже его одноклассники, работали химики, биологи, филологи-русисты. По полям, неуклюже переваливаясь через пологие загибы приземистых, протяжных, будто нарочно разровненных холмов, двигались уборочные машины. Вокруг них сновали едва различимые фигурки людей. Издали казалось, что не машины катят через поля, а скопище настырных смешных муравьёв волочит по земле массивную ношу.

Среди тех скопищ, вероятно, была и Инна. Валерьян вы-

дохнул, прикусив губу.

Труд в поле не казался ему непосильным – выкапывать картошку лопатами не приходилось. Студенты помогали обслуживать комбайны – здоровенные металлические махины, на ходу выгребавшие клубни целыми тоннами. Валерьян с кем-нибудь из товарищей заранее забирался на самый верх такой громадины, в специальное отделение, предназначенное для ручного выбора корнеплодов, подававшихся туда по ленте транспортёра вместе с землёй. Затем водитель заводил двигатель, комбайн выезжал на поле и вонзал свои стальные ножи в почву.

Ребята, стоя наверху, руками очищали картофелины от грязи и остатков ботвы. Затем их бросали вниз, под ноги, в выводное отверстие, из которого картошка через специальный элеватор пересыпалась в едущий рядом с комбайном грузовик.

В первые дни комбайнёр, опасаясь, что неопытные студенты во время движения могут, не удержав равновесия, свалиться вниз или попросту не успевать извлекать весь картофель из россыпей земли, давал небольшую скорость и двигался медленно. Однако, убедившись вскоре, что те научились справляться с работой достаточно ловко, и картошку выбирают старательно, на совесть, он стал понемногу подгонять машину, заставляя транспортёрную ленту двигаться быстрее и быстрее.

– Не выдохлись, молодёжь? – спросил он в полдень, когда

все машины, отогнав к краю поля, застопорили, а студенты поспрыгивали на землю.

Валерьян, прислонился спиной к нагретому солнцем корпусу комбайна и, стащив с рук матерчатые перчатки, выковыривал из-под ногтей грязь.

– А должны были? – усмехнулся он.

Комбайнёр поднял брови.

– Да откуда ж заранее знать, что вы за работники. Помню, года три назад тоже студентов к нам целую ватагу прислали. Так один парнишка – странный такой с виду, с лохмами до плеч, точно баба – час на ленте повыбирал – и в обморок грохнулся. Я-то в кабине сидел – не видел. Хорошо, второй парнишка вовремя его за шиворот подхватил. А-то так бы и полетел вниз, под колёса.

– Устал что ли так? – удивился Кондратьев.

– Видать, с непривычки. Или, может, голова закружилась. Он вообще хилый был, ручонки как спички, шейка цыплячья. Дохлак. Кто вообще додумался сюда таких посылать?

– Как же он потом работал? Так и падал в обмороки каждый день?

– Я в поле его с того раза не встречал. Справку поди доктор выписал, да в город по ней быстренько услали. Отвечать-то кому охота? Да и работник из него никудышный совсем.

Валерьян, завидев, что возящая еду колхозная “буханка”, наконец, приближается к их полю, выпрямился.

– Нас не ушлют. Мы покрепче.

Ели здесь же, подле комбайнов, изрядно оголодав от полевого воздуха и кропотливого ручного труда. Грязь смывали, плеща друг другу на руки водой из бидона, затем тёрли их старательно, соскребая землистую, въедающуюся в ладони даже сквозь перчатки грязь. Мыла не было, потому самые брезгливые, Спицына и Вилков, брали поначалу хлеб, обернув пальцы носовыми платками.

Комбайнёр, поглядев на них, фыркнул:

– Даёте!.. Не сортир же вы прочищали.

Вокруг засмеялись, а Вилков, жуя, отвечал:

– Мало ли какая зараза в земле может быть.

– В земле – жизнь, – поправил комбайнёр миролюбиво, но твёрдо.

Он отёр губы, пригладил седеющую щетину:

– Зараза – она в людях...

Поев, снова работали. Комбайны продолжали разъезжать по полю, пропахивая, одну к одной, длинные широкие борозды. Грузовики-самосвалы, пристроившись рядом, сопровождали каждый из них, подставляя под элеватор кузова. Ленты, полязгивая металлом, подавали и подавали наверх массы грязи, клубней, земли.

– Сейчас не спешаем. Укладываемся в срок, – удовлетворённо сообщил комбайнёр в конце дня. – А в авралы-то ведь и с десяти гектаров картофан снимали за сутки.

Валерьян окинул взором распаханную часть поля, на ко-

тору ю едва ли приходилось гектаров пять, и присвистнул.

– Не веришь? Было-было. И ночами работали, при проекторах.

Вечерами, передохнув после работ, студенты слонялись по деревне, выискивая, чем себя занять. Опекал их теперь, помимо куратора Сергея Анатольевича, спешно присланный из города парень-аспирант – сердито бурчащая Мария Никитична, изыскав какой-то предлог, убыла обратно в Кузнецов уже на третий или четвёртый день.

Первым, однако, влип в историю не кто-нибудь из них, а аспирант. Спицына в один из вечеров углядела, как на укромной, прикрытой от улицы кустами сирени скамейки тот обжимал девицу, дочку той бабёнки, которая в первый день расселяла их по домам. Сумерки не были ещё темны, потому Спицына, любопытствуя затаившись возле куста, смогла распознать сквозь вянущие листья их обоих. Те, поглощённые собой, её не заметили. Рассказ её разнёсся по студентам уже на другое утро. Девушки теперь озорно хихикали аспиранту вслед, парни сопели, скорее в досадливой зависти.

– Быстро закадрил, – проворчал Кондратьев. – Шустряк.

Аспирант и вправду оказался расторопен. Бабёнку, мать девицы, колхозный председатель вскоре услал по какому-то делу в райцентр, и вечером того дня из дома её через полуоткрытое окно различимо доносился мужской голос, девичьи взвизги, хмельной смех. Аспирант на квартире не объявился

и утром притопал, неспросившийся, но благостный, сразу к сельсовету, откуда всех их забирали уходящие в поля машины.

– Молоток пацан. Уважаю, – скукожил губы Федя Ключков, прогульщик и лентяй, едва не исключённый в конце первого курса за “хвосты”.

– А наша Никитична из-за нас ещё на измену подседа, – злорадно ухмыльнулся рыжеволосый Женя Серёгин. – Вот сейчас этот аспирант доярке-то колхозной живот и надует.

Парни взоржали.

Освоившись в колхозе, студенты тоже всякий вечер искали себе забавы. Откалывать шутки первым принялся всё тот же Серёгин, быстро проведавший, в каких именно домах поселились девушки из параллельной группы. Он подбирался к их домам в потёмках, стучал в оконные стёкла, а затем, таясь в темноте, наблюдал, как выставляются наружу настороженные, но заинтригованные девичьи лица. Деревенские улицы вечерами были неосвещены, лишь по голосам или огонькам сигарет можно было распознать на них человека. Серёгин оставался неприметен и тих, лишь беззвучно хохотал в закушенный кулак.

Спустя пару дней он вместе с Витькой Медведевым, парнем одарённым, но задиристым и лихим, раздобыл где-то длинные крепкие шесты. Распилив их и наскоро вдвоём переделав в две пары ходуль, ночью, уже к полуночи, они подкрались к дому, в котором квартировала отличница-старо-

ста. В доме спали, свет всюду был потушен.

– Улеглись. Точно, – Медведев возбуждённо переминался, точно невыезженный конь, подпихнул Серёгина в плечо. – Ну, Ржавый...

Парни накинули на себя тайком прихваченные у квартирных хозяев белые простыни и, запрыгнув на ходули, подковыляли к двум выходящим на улицу окнам – они отчего-то предположили, что староста спит как раз в этой комнате. Оказавшись прямо напротив окон, они зажгли керосиновые лампы и, прикрыв их полами простыней на уровне груди – так, чтобы со стороны казалось, будто высоченные фигуры в белых одеяниях светятся сами собой, изнутри – принялись елозить пальцами по стеклу и надсадно подвывать в два голоса.

Однако вместо бледной, испуганно таращащей глаза отличницы в распахнувшемся окне возник разъярённый хозяин дома.

– Охренели!?! – гаркнул он. – Да я сейчас ваши палки вместе с ногами переломаю!

И, высунув ручищу, ухватил Серёгина за укрытый простыней локоть.

– Поди сюда, шутничок!

Серёгин рванулся, слетел с ходуль. Лампа, вылетев из его рук, задрезала о стену. Потёки керосина занялись рыжеватым пламенем. Оно, чадя, зазмеилось по деревянной стене вверх, к окну.

– Т-т-твою мать! – зарычал мужик вне себя, перемахивая грузным телом через подоконник.

Сорвав с себя майку, он принялся остервенело хлопать ею по горячей стене.

– Настюха! Воду тащи! Живей! – кричал он кому-то в окно.

Во всполошенном доме всё голосило и металось, хлопали двери, громыхали падающие на пол табуреты и лавки. В соседнем дворе взорвался лаем цепной пёс.

Серёгин и Медведев, сами вусмерть напуганные, неслись по улице прочь, бросив у дома и простыни и ходули. Но пробежав сотню шагов, Медведев вдруг попал ногой в рытвину и свалился ничком.

– Ох, ты... – захрипел он, приподнимаясь на локтях и болезненно запрокидывая голову.

– Вставай! Ну! Собаку на нас спустили, – тормозил его Серёгин, ежесекундно озираясь назад.

Ему действительно мерещилось, что пёс сорвался с цепи.

Медведев, кряхтя и ругаясь, поднялся, задул сквозь разодранную ткань рукава на оголённый, влажно окровавленный на ощупь локоть.

– Ну!

Припадая на ногу, он затрусил за Серёгиным, вслед за ним свернул в какой-то закоулок, полез в щель между дровяными сараями. Дыша горячими, высохшими ртами, оба затаились, вслушиваясь в уже утихающий на улице шум.

– Сильно покорябался? – спросил Серёгин, продышав.

Медведев, щупая локоть, плечо, голеностоп, морщился и сглатывал слюну.

– Так...

– Думаешь, запомнил он нас?

– Хрен знает.

Медведев медленно завращал плечом, осторожно разогнул ушибленную руку.

– Ох-х-х...

– Может, не настучит всё-таки нашим... – проговорил Серёгин со слабой надеждой.

Медведев отёр лицо, сплюнул.

– А-то они не заметят, что я покоцанный.

Утром о проделке студентов знала вся деревня. Горящую стену мужику удалось быстро потушить, но фасад дома чернел теперь обугленными струпьями. Колхозники были возмущены.

– Да эти ж чертяки нас едва не спалили. Хрясь керосинками о стену – и драпать, – излагала всё на свой лад жена мужика.

Серёгин и Медведев не запирались. Витькино плечо распухло, и работать на комбайне он долго не смог. Колхозный бригадир, глядя, как тот, неуклюже пытается очищать картошку одной здоровой рукой, бросил с ехидцей:

– Метит бог шельму? Погоди, потолкует с тобой Семёныч.

Хозяина подпалённого дома звали Семёнычем.

Куратор, всполошенный поначалу известием об учинённом студентами пожаре, затем взъярился.

– Точно – нельзя их было по частным квартирам селить! Не уследишь! Если б действительно дом запылал? Ведь это – целое уголовное дело! Статья! – кричал он на аспиранта, точно на виноватого.

– Угу, и нас бы ещё притянули. Мол, отвечаем за них, – отозвался тот угрюмо.

Куратор запрокинул подбородок, воздел глаза:

– Ну Никитична... ну пройда... Как чужла...

Вечером всех студентов собрали в сельском клубе. Изобличённых виновников усадили отдельно, на стульях, лицом к сборищу. Куратор разносил их сурово, будто прокурор на суде. Даже кулаком по столу приударял.

– Серёгин и Медведев! Ваша безобразная выходка свидетельствует не только о вашей о моральной испорченности, но и о вашей крайней инфантильности! Мало того, что вы собирались выкинуть совершенно идиотскую шутку в отношении однокурсницы, вашего товарища, так вы ещё чуть не устроили настоящий поджог. Я сегодня разговаривал с Марией Гавриловной, вашей квартирной хозяйкой. Она жаловалась, что вы тайком, без спроса, утащили у неё две простыни. Вы хоть понимаете, что вы вчера натворили? Два уголовных правонарушения: злостное хулиганство, кража...

– Михаил Владимирович, да не пропали никуда эти простыни. Подобрала она их давно. Даже выстирать успела, –

пробурчал Серёгин.

– В данном случае это совершенно неважно. Вы взяли чужое. А представляете, чтобы было, если бы Мария Гавриловна пошла не ко мне, а в милицию? Или в милицию написал бы заявление Сергей Семёнович? Представляете?

Михаил Владимирович, возвысив голос почти до крика, резко умолк. Студенты сидели притихшие. Серёгин, поникнув, молчал, уставившись в пыльный пол, затем, заикаясь, принялся что-то бормотать в своё оправдание, жалко и невнятно. Медведев, сопя, задиристо зыркал исподлобья.

– В милиции с вами б церемониться не стали, – подпел аспирант. – Поджог – дело серьёзное.

– Вы, по-моему, до сих пор не понимаете всей тяжести возможных последствий, – куратор, выдержав паузу, продолжил свои обличения. – Вы осознаёте, что могло бы произойти, если бы вспыхнувший керосин не успели вовремя потушить? Ведь могли погибнуть люди! И это вы – вы! – стали бы причиной трагедии!

– Да керосина-то в лампе этой было – чуть-чуть. Само б загасло, – возразил Медведев ершисто.

Сложно сказать, что выводило его из себя сильнее: высокопарно обвинительные речи куратора или ноющее плечо.

– Медведев, помолчали бы! – прикрикнул Михаил Владимирович. – Нашли время валять дурака.

– Я говорю, как было.

– Мы знаем, как было. А вам бы не пререкаться с преподавателем.

давателем, а спасибо сказать. Ради вас, между прочим, специально фельдшера сегодня беспокоить пришлось.

Медведев оскалился, подаваясь вперёд:

– А нечего меня фельдшером попрекать! И без него б обошёл! Васильева-то, аспиранта, проработали? Нет? Вся деревня уж пальцем тычет.

Студенты, ахнув, загалдели, Серёгин принялся дёргать его за рукав:

– Да тише ты, тише...

Ровные зубы аспиранта обнажились в нервной улыбке, которой он, словно кляпом, пытался сдержать лезущее наружу ругательство.

Михаил Владимирович навёл на Витьку недобрый взор и проговорил, беря между словами зловещие паузы:

– Медведев, по возвращении в город вопрос по вам на факультете поднимем основательно. Думаю, и по линии комсомола с вас спросят.

Х

Куратор теперь приглядывал за студентами неотступно. Всякий вечер обходил дома, проверяя, все ли на месте, подолгу разговаривал с их хозяевами, выведывая подробности про постояльцев.

Аспирант, встретив Медведева наутро после собрания, сжал кулак и озлобленно прошипел:

– Повыступаешь ты ещё у меня, правдоруб...

Тот подмигнул:

– Нахлобучили всё-таки, да?

Аспирант сощурил глаз:

– Завидно, что на самого девушки не смотрят?

– Захочу – посмотрят. А вот про ментовку на собрании гнать – гнило... Сам что ли не барагозил никогда?

Аспирант ослабился, но отступил.

– Борзый ты, Медведев.

– Киселём никогда не был.

Они разошлись, ожёгши друг друга взглядами.

Выходные вышли тягомотными. В ночь на субботу деревню начал заливать дождь, быстро превратив улицу в месиво, в которое без резиновых сапог было не ступить. Валерьян, затопавший засветло налегке через двор к туалету, сразу промочил ноги.

Домохозяйка, выцветшая одинокая женщина годами к пя-

тидесяти, действительно пила. Бутылка самогона появилась на её столе с самого утра.

– Будешь? – поинтересовалась она, кивнув на пустой стакан.

Лицо её, в багровеющих прожилках, румянилось нездорово.

Валерьян отрицательно мотнул головой.

– Смотри...

Поев, он натянул сапоги, свитер и направился на почту.

В почтовом отделении имелся телефон с выходом на междугороднюю связь, и Валерьян позвонил домой – впервые с момента приезда в колхоз. Ответившая на звонок мать до тошно выпрашивала его про быт, про квартирных хозяев, настырно требовала, чтобы он, выходя в поле, одевался теплее. Перехвативший у неё трубку отец был лаконичнее, больше слушал его, давал советы:

– Ты от куратора вашего подальше держись. Понял? Сильно не усердствуй. А то навалит обязанностей – начальники любят на исполнительных ездить.

Поговорив с родителями, Валерьян задержался у стола с разложенными газетами. Помимо районной и областных, продавали и несколько центральных. Был даже номер журнала “Техника – молодёжи”, правда, за прошлый месяц. Он взял его в руки, пролистал, но не купил.

Под вечер студенты собрались во дворе МТС, помещавшейся в старой, недействующей церкви. Здание её, несмотр-

ря на переоборудование, всё равно выглядело заброшенным. Обнажённая, из красного кирпича кладка была испещрена выщерблинами, над центральным входом, заслоняя с улицы остатки купола, проросла в человеческий рост берёза.

Посвежевший ветер угнал облака, и студенты, сидя на приставленных к церковной стене деревянных ящиках, глядели на меркнувшее, перемигивающееся ранними звёздами небо, неторопливо курили, ведя задумчивый разговор.

– Как местные-то тут не охреневают? – спросил, словно бы самого себя, Кондратьев. – Ни телека ведь ни у кого, на радио – сплошной “Маяк”.

– Охреневают – и пьют, – отозвался Валерьян, вспомнив хозяйку.

– Им, может, телек и не нужен. Отпахал трудовень, вмазал – и ништяк, – придавил окурком носком ботинка староста параллельной группы Никита Скворцов.

– Скукотень же.

Тот пожал плечами:

– Кому как.

Тьма становилась всё гуще. Силуэты старых, полуразобранных тракторов, валявшиеся на дворе там и сям ржавые остатки моторов расплывались в чернеющей мгле, превращаясь в угловатые причудливые груды.

Кондратьев посмотрел на небо, вздохнул:

– Жаль, телек не посмотреть. По субботам в это время передача клёвая идёт – “НЛО: необъявленный визит”. Про

космос, пришельцев и всё такое.

Валерьян фыркнул:

– Чушь!

– Не скажи. Там реальные люди выступают, рассказывают, что видели. Я верю.

По угасшему небосводу, будто спичка по коробку, ярко чиркнула падающая звезда.

– Вон твоё НЛО полетело, – не удержался от шутки Валерьян.

– Метеор, – почесал переносицу Скворцов и закурил вторую.

– Да кто его знает, – взлохматил волосы на затылке Медведев. – Сейчас столько всего показывают и пишут... Взять экстрасенсов тех же: Кашпировского, Чумака. Исцеляют людей. Кто б в такое раньше поверил? А вот моя тётка-язвенница заряженную воду стала пить – и действительно полегчало.

– Экстрасенсы – это другое, – возразил Скворцов. – Мы просто не знаем всех функций человеческого организма. А они узнали и научились ими управлять. Что в этом такого невероятного?

– А что в НЛО? – парировал Кондратьев.

– Ну, пришельцы, гуманоиды – это перебор. В Солнечной системе нет жизни – установлено. А на то, чтоб из других звёздных систем до нас долететь, сотни и тысячи световых лет потребуются. Кто ж столько проживёт?

Все примолкли, кто силясь прикинуть в уме столь громадную бездну времени и пространства, кто просто в молчании глядя на звёздное небо.

– Читал недавно, и мыслью управлять можно. Предметы на расстоянии передвигать, – продолжал Кондратьев о своём.

– Ага, только подумал – и картошка вся на ленте выбрана, – сострил молчавший до того Серёгин.

Медведев сплюнул под ноги, повёл незажившим ещё плечом.

– Мечтай, затейник.

По его раздражённому жесту, саркастическому тону ощущалось, что прежняя дружба между ними оборвалась – прямолинейный, резковатый Медведев после недавнего собрания перестал видеть в Серёгине товарища и того не скрывал.

Серёгин шмыгнул, пригнул шею, смолчал.

У МТС, оттолкнув железные, скрипучие ворота церковного двора, показался куратор.

– Вы? – спросил он, щурясь во тьму. – А я вас искал, искал...

– Мы, – подтвердил Валерьян.

– По домам идите. Хозяевам что, специально не спать, вас дожидаться?

Топчась возле ящиков, куратор вертел по сторонам головой, невзначай заглядывал в промежутки между ними.

“Буылки высматривает. Боится, что пили”, – догадался

Валерьян.

Студенты неохотно поднялись.

– Да уж не пропадут они. С нами, без нас... – процедил он.

В воскресенье в клубе показывали кино. Куратор, подключив колхозного председателя, договорился, чтобы к ним из райцентра привозили фильмы и даже раз в неделю приезжал на вечер киномеханик. Пока он налаживал аппаратуру и заправлял в неё плёнку, студенты толклись у входа, с чавканьем переступая сапогами по раскисшей грязи.

– Фильм-то хоть про что будет? – спросил Валерьян у комсорга Вилкова.

Тот, сплюнув, ухмыльнулся:

– Про урожай.

Фильм был новый, совместный, польско-советский, но показывали в нём тропическую влажную Азию, перевитые лианами чащи, буддистские пагоды. Несколько авантюристов, завлечённых случайно попавшим в их руки старинным восточным манускриптом, искали путь в потаённую долину, но нашли в заброшенном монастыре не клад, а жуткое, смертельно опасное зелье. Парни загоготали в голос, когда в одной из сцен героиня – смазливая и пронырливая журналистка – мелькнула в кадре обнажённой. Девицы захихикали, прикрывая рукавами рты.

– А ничего так фильмце подогнали. Взбодрил, – проговорил довольный Кондратьев. – Думал, хрень какую-нибудь

прокрутят.

Когда Валерьян вернулся домой, хозяйка уже спала, сипло храпя из своего отгороженного занавеской закутка.

Следующая неделя была малоотличима от первой. Те же комбайны, то же выбирание картошки из земляных комьев, которые после недавних дождей не рассыпались, а размазывались по перчаткам тягучей грязью. Прямо в полях их несколько раз накрывали ливни, и тогда перебирать землю становилось совсем в тягость. Студенты, застегнув до самого ворота куртки, пряча лица под нахлобученными на самые лбы капюшонами, швыряли в отверстие элеватора слипшиеся грязные комья, даже не стараясь извлечь из них клубни.

К пятнице Валерьян, несмотря на усталость, повеселел, обнадёженный. Побывавший с бригадиром в соседнем колхозе Вилков обмолвился, что обосновавшиеся там студенты-химики хотят в субботу заявиться к ним в гости. В их деревне киносеансов не устраивали.

В этот раз из райцентра привезли сразу несколько лент, на оба выходных дня, и что смотреть, студенты выбрали сами. Большинству приглянулась прогремевшая в эти месяцы “Авария, дочь мента” – кто-то ещё в городе воодушевился газетными рецензиями, кто-то слышал о картине от других. Михаил Владимирович, узнав, выбор одобрил:

– Правильно решили, ребята. Вам сегодня подобные фильмы нужны. Режиссёр верно показывает, к каким трагическим последствиям способен привести анархический

бунт.

Студентов, впрочем, фильм привлёк не только рецензиями и рассказами. Само название дразнило ухо жаргонным, дворовым словом.

Химики на киносеанс явились всем курсом, и зрители едва вместились в не слишком обширный актовъй зал клуба. В проходе между рядами деревянных стульев с ободранными откидными сидениям пришлось расставлять табуреты. Сзади, в узком пространстве между последним зрительским рядом и стенкой, втиснули несколько длинных скамей, и усевшиеся на них зрители упирались коленями в жёсткие спинки впередистоящих сидений.

Валерьян заприметил Инну сразу, ещё на улице, возле клуба. Вместе с остальным курсом химиков она действительно трудилась в соседнем колхозе. Улыбнувшись, она даже кивнула ему первой, словно не прочь завести разговор.

Однако заговорить у них не вышло. Суетившийся у входа куратор, как назло, отрядил его в помощь киномеханику – сутулому, медлительному мужичку, заявившемуся в клуб “под мухой”.

– Ештокин, пригляди за ним там. А-то ещё не ту плёнку заправит.

Пока Валерьян, чертыхаясь про себя, минут десять возился тесной комнатушке, силясь понять сбивчивые указания мужичка, студенты заполнили зал. А когда, наконец, механик с его помощью вставил нужную ленту в аппарат и изго-

товился начать показ, свет в зале уже погасили, и разобрать, кто где сидит, было невозможно. Сам он с трудом приткнулся на край скамьи, когда экран уже пестрел титрами.

После окончания киносеанса студенты говорливой гурьбой повалили из зала наружу, поводя затёкшими плечами, выгибая одеревенелые спины – сидения в сельском клубе не были покрыты обивкой, и мышцы от них, немея, болезненно ныли.

Валерьян, зацепившись с кем-то из химиков пустячными фразами, уже присоседился было к их с Инной компании, но в этот момент к клубу подрулил грузовик.

– В Дрёмово собираюсь. Девушки, кого подвезти? – лихо крикнул колхозный водитель, высунувшись из кабины по грудь.

Химики жили в Дрёмово, но идти обратно по грязной дороге, по холоду и темноте пешком, никому из них не хотелось.

– Да кто ж их отпустит-то одних? – рассмеялся стриженный “под горшок” парень, первым карабкаясь в кузов. – Забьёте ещё не туда.

– Обижает, студент, – выпячивая в деланной обиде губу, прогудел водитель. – Я не какой-нибудь такой. Я от души...

Грузовик, вобрав в свой кузов десятка два девушек и парней, покатил по улице от клуба прочь, окатывая обочины брызгами из луж. Разочарованный, расстроенный Валерьян остался у крыльца.

“Опять облом! Ну что ты за...!” – думал он, костеря про себя и подворачивавшихся в этот вечер некстати куратора с водителем и самого себя.

Крупные капли падали с мокрого после дождя козырька ему на плечи, пронизывая ткань холодной влагой почти насквозь, но он того даже не замечал.

XI

Дом, в котором жил Валерьян, в воскресное утро стоял тих. Хозяйка запропала куда-то с прошлого вечера и до сих пор не объявлялась. Никто не звякал за перегородкой посудой, не громыхал вёдрами, разливая из них по чанам и тазам колодезную воду.

Валерьян, ополоснув у умывальника лицо, вскипятил на газовой плитке чайник, поджарил на сковороде картошку с яйцами, заварил крепкого чая. Завтракая, он сумрачно глядел в мутное, невымытое окно, к которому льнул высаженный в кастрюльке чахлый кустик герани.

Ни на улицу, ни к товарищам его сейчас не тянуло. Хотя те вряд ли обратили внимание на его неуклюжие попытки втянуть одну из пришедших на киносеанс девушек в разговор, однако он всё равно ощущал себя осрамлённым.

Поев, он лёг обратно на кровать, прихватив лежащую у печки книгу. Хозяйка, видимо, думала пустить её на растопку, и нескольких начальных страниц в ней действительно не хватало, однако чтение сумело его немного отвлечь.

Спустя полчаса он, однако, отложил книгу, вновь вернувшись думами к своему. Те были сумбурны, суетны, заставляли его, пробираемого конфузливим воспоминанием, время от времени ёжится телом и встряхивать головой.

Стук в окно встрепенул Валерьяна.

– Эй, парень! Студент! – кричал кто-то с улицы.

Валерьян встал, подошёл к окну, отодвинул герань, раскрыв раму.

– Дома ты? Нет?

Снаружи стоял колхозный председатель.

– Выручи, парень, а. Остальные-то ваши куда-то запропали все.

– А сделать-то чего надо? – спросил без всякого рвения Валерьян.

– Да скотники наши, заразы, запили. Не добудиться никак, – председатель сплюнул с досады. – Навоз надо подгрести. Скот-то в стойлах сегодня, не выгоняли. Не то коровы в г... утонут.

– Угу.

Правдоподобная отговорка не подвернулась сразу Валерьяну на язык, потому он, закрыв окно, надел сапоги, куртку и нехотя вышел на улицу.

– Работы там не шибко много. Стойла почистить, прогрести, – бормотал дорогой обрадованный председатель.

Валерьян, отвернувшись, фыркнул в воротник.

Возле коровника, приземистого, сложенного из серых бетонных блоков прямоугольного здания, их понуро дожидалось пятеро студентов. Выданные им вилы, лопаты и грабли стояли рядом, прислонённые стоймя к стенке.

– Не разбежались? – усмехнулся председатель и, указывая на Валерьяна, сказал. – Вот вам ещё помощник.

– Хотели пораньше в клуб, а припахали на коровник, – вздохнул один из парней.

Председатель приобхватил его разлапистой ладонью за плечо:

– Ничего, управитесь впятером до кина.

Валерьян, завидев тех, к кому его отряжали в помощь, чуть заметно вздрогнул. Все они были с химического факультета, и среди них была Инна.

Она откинула от лба выбивающиеся из-под красной, с помпоном, шапки русые, волнистые волосы, перемигнулась с однокурсниками:

– Ну хоть один физматовский не сачканул.

– Привет сознательному математику! – хохотнул один из парней и вручил Валерьяну вилы.

Работа студентам, несмотря на заверения председателя, выпала нудная и тяжёлая. Нечистоты приходилось выскребать из узких стойл, орудуя под самыми ногами коров. Иные из них грузно лежали на соломе, не желая подниматься даже тогда, когда, откинув щеколду, к ним входили в стойло. Лишь поворачивали в сторону боязливо переминающегося с ноги на ногу студента рогатую голову, обдавали тёплым, влажным дыханием.

– Он тебя не боднёт? – Инна вдруг обеспокоенно выглянула из-за плеча Валерьяна, пытавшегося заставить крупного рыжего быка встать.

Бык, получив от Валерьяна пару тычков рукоятью лопаты

в бок, наконец, поднялся и, издав короткое утробное мычание, уставился на него в тупом упрямстве.

– Боднё-ё-ёёт, – Инна, попятившись, потянула за рукав и Валерьяна.

Но тот, расставив широко ноги, остался стоять на месте. Хлопнув в ладоши, он пшикнул на быка в точности так, как пшикали гоняющие стадо пастухи.

Бык пригнул голову, но отступил вглубь стойла, вжался задом в стенку. Валерьян, не совершая, однако, резких движений, тут же принялся чистить пол.

– Племенной, небось, – Валерьян, раскованно улыбаясь, потрепал быка по покатоному лоснящемуся боку. – У-у, бугай...

Инна, продолжая с недоверчивостью коситься на присмирившего быка, принесла объёмистое оцинкованное ведро, и Валерьян вскоре забросал его навозом доверху. То и дело заглядывавший в коровник председатель подсказал студентам, как сообразнее и быстрее работать: пусть, разбившись попарно, один вычищает стойла, а второй носит вытряхивать заполняющееся ведро во двор – досыпать наваленную в углу навозную кучу.

Но Валерьян не позволил Инне нести ведро самой.

– Постой. Оно тяжёлое, – сказал он, выходя из стойла.

Инна, улыбаясь в нежданном смущении, пыталась воспротивиться:

– Ты ж и так гребёшь.

– Ну так и вынесу. Не надорвусь.

Валерьян с усердием вычистил три или четыре стойла, ни разу не позволив Инне самой вынести ведро. Она, смущённо переминаясь с ноги на ногу, оставалась стоять в длинном проходе между коровьими загонами без всякого дела.

Но когда Валерьян, вытряхнув на навозную кучу во дворе ещё одно ведро, принялся отпирать следующую щеколду, Инна вдруг отобрала у него лопату.

– Давай-ка поменяемся. Теперь я погребу, – произнесла она.

Валерьян, растерявшись, даже не попытался её оспорить.

– Моя теперь очередь, – повторила Инна, приноравливаясь сноровистее загрести лопатой грязь. – Так честнее.

Стойла вычистили к вечеру. Утомлённые, со взбухшими на ладонях водянистыми мозолями, студенты побросали в угол лопаты, грабли с ведрами и вышли на воздух. Председателя на дворе не было, зато в закутке, под навесом, возле проржавелого и покорёженного корпуса старого трактора, сидели, мерцая в густящейся тьме багровыми огоньками сигарет, несколько местных парней.

– Председатель-то где? – спросил, подойдя к ним, Валерьян. – Закончили мы.

– А нормально всё, я запру, – дымно выдохнул курносый, с торчащим из-под кепки вихрастым чубом крепыш.

– Ты?

– А батька он мой. Ключи оставил.

Студенты поневоле столпились напротив парней, не сообщив ещё, куда им теперь податься. Вихрастый сын председателя поднял с земли вместительную бутыль.

– Ну, сделали дело... – зазывно произнёс он, отбрасывая окурок.

Валерьян заметил, что парни навеселе. Возле них, на накрытом газетой дощатом ящике, были разложены клубни отваренной картошки, очищенные луковицы, пара вскрытых консервных банок.

– Потрындим, городские? – пододвинул один пустую металлическую кружку. – Расскажите нам чего...

Подпившие деревенские парни держались добродушно, без задиристости. Студенты принялись усаживаться возле ящика.

– Расскажем, – протянул кто-то из химиков. – И вас слушаем.

Присел было на корточки и Валерьян, как Инна вдруг с неожиданной решимостью отрезала:

– Я – в клуб.

Сын председателя огорчённо скособочил нижнюю губу.

Инна попятилась от ящика прочь.

– Я тоже, – вырвалось, словно само собой разумеющееся, у Валерьяна.

Один из деревенских, склонив голову, сузил глаз.

– Обижаете, ребята...

Инна, не отвечая, быстро направилась к выходу со скотного двора. Деревенский сплюнул перед собой, но председательский сын примирительно толкнул его кулаком в предплечье.

– Оставь... Не видишь?

– Не заплутайте! – крикнул кто-то Инне и Валерьяну вслед.

До клуба, через всю деревню, они шагали вдвоём: сначала мимо хозяйственных построек, затем по безлюдной, неосвещённой улице.

– У меня вот так же отец водку картошкой и килькой заедает. Каждый день. Каждый... – внезапно заговорила Инна, и в её голосе, взволнованном, высоком, ощущалась боль.

Валерьяну вспомнился свой отец, их чинные семейные торжества, романсы под гитару...

– Всё пропивает дочиста. Даже вещи из дома тащит, – поведала она, стремительно выдыхая.

Сотню метров они прошли в молчании. Валерьян чавкнул по невидимой в потёмках грязи сапогом. Инна, грустно рассмеявшись, вдруг обернулась к Валерьяну лицом:

– Мама хотела, чтобы я на инженера поступать шла. Она сама медсестра при заводской больнице. Для неё все кто в люди выбился – все инженеры. Но я решила выучиться на химика. Может, какое-нибудь лекарство от пьянства изобрету.

Валерьян выслушивал её отрывистые, надрывные репли-

ки с гнетущей неловкостью, словно человек, случайно увидевший чужой болезненный припадок. Он тихо ступал рядом, уставив взор в едва различимую в сумерках дорогу.

– Кто знает... – выдавил он, наконец.

В конце улицы засветлело. То светился фонарь возле здания клуба.

Инна, желая прогнать охватившую обоих грусть, спросила:

– Куда ваши-то все исчезли? Председатель здешний бегал с полчаса, искал, но никого, кроме тебя, найти не смог. А мы с ребятами всё ждали, ждали...

– Не знаю, – развёл Валерьян руками. – Я один живу, без соседа. Хозяйка тоже запропала куда-то.

В последние дни, выматываясь в поле, он общался с товарищами реже.

– В кино-то придут, точно.

Инна, слегка задев локоть Валерьяна, подняла руку, убрала лезущую в глаза прядь.

– А показывать что будут?

– Не знаю.

Стремясь поддержать начавший вязаться разговор, он спросил:

– Как тебе вчерашний фильм, кстати? Впечатлил?

– Правдивый. Как показали – так в действительности в жизни и есть.

Валерьян коснулся переносицы, втянул холодеющий воз-

дух.

– Вот прямо так?

– А что, нет?

– Уж больно мерзко всё показано.

– Так живём.

Они были уже у самого клуба. Перед крыльцом толкся, куря и переговариваясь, народ. Смотреть кино ходили теперь и местные обитатели: мужики, тётки, несколько парней и девиц.

– Объявился! А мы стучали к тебе, – бросил подвернувшийся Валерьяну Кондратьев.

Расхристан, краснолиц, он был задирист и, кажется, нетрезв.

– На коровник припахали.

– Х-ха, на коровник! А нам Ржавый проставлялся. Днюха у него была.

Кондратьев разинул в грубоватой усмешке рот, из него пахнуло ядрёным перегаром.

“Вот, значит, куда наши запропали”, – понял Валерьян.

– Михаилу Владимировичу на глаза не попадись. Раздует историю, – предостерёг он.

Кондратьев бесшабашно взмахнул рукой.

– Он в город уехал на день. Завтра только вернётся.

Фильм Валерьян смотрел вполглаза, то и дело осторожно скашивая взор с экрана на Инну. Ладонь её лежала на привинченной к металлическому поручню сидения дощечке, со-

всем рядом с его ладонью, однако Валерьян, удерживаемый её отстранённой, независимой позой, так и не взял ладонь в свою.

XII

Инну с тех пор в колхозе он не встречал, смотреть кино она больше не приходила.

Истосковавшийся Валерьян наведалься в Дрёмово сам, но Инны разыскать не смог. Парень, что тоже чистил тогда коровник, сказал, что несколько дней назад она получила из дома телеграмму и сразу уехала в Кузнецов.

– Отца вроде у неё скрутило совсем. В больницу уложили, – сказал однокурсник Инны.

Погано сделалось у Валерьяна на душе – словно бы он о близком человеке в трудный момент позабыл. Мгновенно вспомнился их разговор на тёмной деревенской улице, короткий, но яркий рассказ про непутёвого пьяницу-отца.

– Не вернётся уже сюда, значит? – не удержался он.

Парень, пригретый нежданно прорезавшимся сквозь облака солнцем, разморено зевнул:

– А чего-то возвращаться? Осталось-то...

Оставалось всем им трудиться “на картошке” действительно немного.

В двадцатых числах сентября работы закончились. Пятничным утром к колхозному правлению пригнали те самые автобусы, что везли студентов сюда из Кузнецова. Провожать их явился председатель. Даже небольшую речь произнёс, благодарил за помощь, по-крестьянски простецки, но

вместе с тем душевно напутствовал.

Завидев Валерьяна, председатель пожал ему руку.

– Бывай, парень. Здорово ты нас тогда выручил.

Его квартирная хозяйка, заглянувшая в правление по какому-то своему делу, произнесла в сердечном сочувствии:

– Езжай уж, а то, поди, измаялся совсем. Всё ходил, ходил влюблённый...

Валерьян дёрнул уголком рта и полез внутрь автобуса.

По возвращении в Кузнецов он налёг на учёбу. Лекции, занятия в библиотеке, подготовка курсовых...

Второй курс давался ему ощутимо легче, чем первый. Он наловчился быстрее и, главное, подробнее вести конспекты. Он тратил меньше усилий, отыскивая в толстых библиотечных томах нужные разделы, точнее выбирал в них то, что облегчало решений заковыристых уравнений или задач. Даже теоремы, громоздкие доказательства которых преподаватели требовали выводить в безукоризненной последовательности, становились ему яснее, проще.

Зато всё поразительнее, страннее делалось окружающее...

Всё больше студентов, его сокурсников втягивалось в чтение центральных газет. Вернувшись из деревни, они читали жадно и помногу, проглатывая номера “Аргументов и фактов”, “Комсомольской правды”, “Известий”, выстаивая перед киосками долгие утренние очереди. Если газеты заканчивались в продаже раньше, чем подходила очередь, студенты, чертыхаясь, спешили к следующему, ибо знали, что по-

том, после занятий, во всём городе их будет не достать.

Множились среди них и поклонники недавно открытых на телевидении передач. Год-полтора назад даже новостные выпуски мало кого привлекали, в них не находили почти ничего, кроме занудства и скуки. Сейчас же многие изнывали в ожидании пятничных вечеров – именно в такое время в эфир выходили выпуски программы “Взгляд”.

В последующие дни, в минуты перекуров у входного крыльца, в столовой в перерывах между парами, увиденное обсуждали, горячась, споря из-за репортажей, многое додумывая, домысливая, договаривая от себя.

Сюжеты “Взгляда” ввергали в оторопь, изумляли.

Ржавые, пожираемые барханами остовы сейнеров в заброшенном порту иссыхающего Арала... Отравленная мазутом речная вода, поверхность которой вспыхивает с одной спички... Рок-н-рольные концерты, надрывающиеся певцы, иступлённая куча-мала у сцены...

Всё чаще, явственнее вспоминался Валерьяну Арбат, его ораторы, музыканты, карикатуристы. Многое из того, о чём рассуждали, о чём спорили теперь вокруг, он слышал несколько месяцев назад в центре Москвы, видел на плакатах, рисунках.

Раздражённее, злее от недели к неделе делались разговоры.

За несколько дней до 7 ноября, когда курсу уже объявили место и время сбора праздничной колонны, Саня Вилков

взялся самолично тормозить однокурсников:

– Не опаздываем, слышите? – требовательно напоминал он каждому. – К девяти на месте железно всем надо быть.

Студенты кивали равнодушно, без рвения. Федя Девятков, круглощёкий увалень-разгильдяй, вдруг огрызнулся сердито:

– А всем-то – какого хрена? Я вообще в комсомоле не состою и ни на какие демонстрации ходить не обязан.

Вилков осёкся, заморгал удивлённо:

– 7 ноября – праздник, годовщина революции...

– Да на хрен эту революцию! Если б не она – жили б теперь как люди.

– Федя, ну чего ты несёшь? “Огонька” что ли начитался? – начал было стыдить Вилков, но лицо его было растерянное.

– А мне и без “Огонька” всё ясно. В магазины что ли сам не заглядываешь? Всюду пусто – подчистую.

Вилков натянуто улыбнулся.

– Федя, ну это же временно. Завезут. Что ж теперь, на демонстрацию не ходить?

– А я вот лично не пойду! И чего там, в самом деле, седьмого праздновать? – выкрикнул Девятков с нарастающим раздражением. – Что жрать скоро нечего станет?

Перепалка между ними возникла в лекционном зале, в перерыве. Чем громче пререкался Девятков, тем тише делалась непринуждённая болтовня вокруг, шутки, смешки. Спустя минуту они умолкли совсем. Спицына поддела Вил-

кова язвительно:

– Про то, во сколько на демонстрацию приходиться, нам уже десять раз объявили – не забудем. Вот бы, комсорг, лучше сказал, когда дефициты, наконец, закончатся.

Вилков замычал вконец растерянно, заозирался по сторонам, но никто из студентов заступаться за него не стал.

На ноябрьскую демонстрацию Валерьян отправился скорее по привычке. Из их группы человек пять на неё не явились. Он, помня прошлый год, попытался сразу затеряться в хвосте колонны, подальше от лозунгов и транспарантов, но его перехватил куратор Михаил Владимирович и всучил плакат с профилем Ленина и надписью: “Слава Великому Октябрю!”.

– Вперёд становись, сразу за транспарантом, – распорядился он и подстегнул ворчливо. – Да палку, палку выше держи. Чтоб над головой Ленин был. Понял?

Колонна, в отличие от прежних лет, собралась довольно жидкая. Не все в ней были по-праздничному веселы. Иные, топчась у тротуара, отводили, словно стыдясь, от красных знамён глаза, готовые улизнуть при первой возможности куда-нибудь за угол, в подворотню.

– Сигнали опять, ч-чёрт, – бурчала за спиной Валерьяна какая-то баба.

Колонна собиралась возле парка Авиаторов. Затем, вбирая по дороге всё новые и новые группы демонстрантов, топала по Советской, потом по проспекту 50-летия Октября к

центральной площади.

Митинга как такового предусмотрено не было. Обычно демонстранты доходили строем до площади, а оттуда разбредались кто куда. Многие уходили в парк, располагавшийся поблизости, сразу за зданием обкома КПСС. Старички, семьи степенно прохаживались по его засыпанному, шуршащим палой листвой аллеям, дети тянули за собой на верёвочках округлые и продолговатые красные шарики. Парни, мужики разбредались компаниями по дальним закуткам, ища, где сподручнее раскупорить водочную бутылку.

Однако сейчас, когда демонстрация достигла уже середины площади, возникла заминка. На гранитную трибуну, над которой нависал слегка наклонённый корпусом вперёд, памятник Ленину, взошёл человек.

– Дорогие товарищи! Поздравляю вас с семьдесят второй годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! – заперхал оттуда глуховатый, с натужной хрипотцой, голос.

Голова колонны остановилась в полутора десятках метров от трибуны, и Валерьян узнал первого секретаря обкома Артемьева. Тучный, с нездоровым, багровым лицом, непривычный к уличным речам, он так и сяк принаравливался к микрофону, глухо прокашливался.

Нежданную речь первого секретаря демонстранты слушали более с удивлением, чем с интересом. Никто не припомнил, чтобы Артемьев прежде выступал на площади.

– Никак в народ Артемьич вознамерился выйти? – хмыкнул какой-то низенький старичок, тря пальцем уголок подслеповатого глаза. – Ну и шёл бы с нами тогда от начала, от парка Авиаторов.

Артемьев, постоянно подглядывая в лист бумаги, говорил путано, петляя мыслью. Начал с праздничных поздравлений, с похвал перестройки, призвал к поддержке реформ, несколько раз ввернул комплемент генеральному секретарю Горбачёву. Но скоро свернул на другое:

– Товарищи, перестройка должна обновить и укрепить наше социалистическое Отечество! Перестройка не означает отказа от социалистических идеалов. Социализм нуждается в улучшении, укреплении. Лучшие силы нашего общества и её авангарда – Коммунистической партии Советского Союза – стремятся отстоять, модернизировать советский строй. Страна переживает сложный, ответственный период. Реакционеры всех мастей пытаются расшатать братство народов советской страны, пытаются внушить людям отвращение к нашей недавней истории, к подвигам наших отцов. Перестройка является серьёзным испытанием для всего нашего общества, всего народа. Но я уверен, что мы преодолеем все трудности и выдержим его с честью. Мы – продолжатели светлого дела великого Владимира Ильича Ленина – обязаны достойно справиться с важной общественно-исторической задачей. Обновлённый социализм – вот наше будущее! Слава Великому Октябрю!

Последнюю фразу Артемьев выкрикнул, боевито воздев мощный, по-крестьянски тяжёлый кулак. Но большого воодушевления у слушателей его выступление не вызвало.

– Всё речи, речи... Уши вянут уже от болтовни! Порядок-то когда наводить начнёте, а? – недружелюбно проворчал мужик в нахлобученном почти на самые глаза “петушке”.

Студенты, быстренько забросив плакаты и флаги в кузов подогнанного к углу площади грузовика, резво пробирались сквозь людское скопление в сторону парка.

– Отстрелялись, всё, – Медведев, хитровато посмеиваясь, сплюнул под ноги. – А не то ещё на что-нибудь припадут.

Разговоры в медленно расползающейся толпе после выступления первого секретаря звучали раздражённые: дефицит, талоны, бардак... Казалось, Артемьев, сам того не желая, лишь сильнее растравил в людях давно копящееся недовольство.

– Ну и чего он вышел, спрашивается? Чего сказал? – недоумённо вопрошал собеседника пожилой, сутуловатый дядечка в шляпе.

Тот озадаченно кривил рот и вздымал плечи.

В парке, в отличие от площади, было веселее. Семьи, молодые пары, оравы школьников... Какой-то усатый мужик, стоя на самой середине бульвара, наяривал на гармошке, распевая сипловато что-то революционное и очень давнишнее. Там и сям попадались пьяные – народ, как и во всякий празд-

ник, к середине дня начинал хмелеть.

– Во “Встречу” двинем? – проговорил Кондратьев, поглядев в конец аллеи. – Или как?

Заведение здесь располагалось только одно – неказистое, укрытое в глубине парка кафе. Но в праздничные или выходные дни оно не бывало малоллюдно.

– Думаешь, уместимся все? – усомнился Скворцов. – Там с местами всегда напряг.

Кондратьев поскоблил указательным пальцем подбородок.

– Посмотрим. Другого-то поблизости всё равно нет.

Ватагой в полтора десятка человек они заспешили вглубь парка, но когда дошли до места, лица их вытянулись.

– Вот додумались – закрыться в праздник! – выругался Медведев, дёрнув с досады накрепко запертую дверь. – Охренели они, что ли?

“Встреча” действительно оказалась закрыта. Плотные, бордовые шторы на окнах были опущены до самых подоконников. На занавешенных дверях не висело никаких объявлений, один только увесистый замок.

– Может, они вообще закрылись? С концами? – предположил Валерьян, глядя на пыльные, немые стёкла.

Кондратьев озадаченно заложил за щёку язык.

– Недавно вроде ещё работало.

– Выходной день, люди гуляют, а они выдумали себе какой-нибудь там переучёт. Маразм... – прогудел Дима Томи-

лин, раскосоглазый, тонкокостный парень из параллельной группы.

Пришлось поворачивать и идти обратно, к выходу из парка. Другое кафе было не близко, кварталах в пяти от центральной площади.

– Слушайте, а может, ко мне пойдём? Родители в гостях, раньше вечера не вернутся, – предложил вдруг Медведев.

Ватага их приостановилась.

– А закупиться самим, в магазине? – спросил Кондратьев.

– Будет тебе в магазине, ага, – сплюнул Томилин. – Всюду уж всё расхватали.

Медведев ухмыльнулся:

– У меня самогонка есть колхозная. Пробовал – ништяк.

Кондратьев присвистнул:

– Купил там у кого что ли?

– Выменял. У председательского сынка на пару цоевских кассет.

Уговаривать товарищей Медведеву не потребовалось – выпить в праздник картофельной самогонки захотелось всем.

Они свернули с главной аллеи на боковую. Именно она выводила на остановку, от которой отходил следующий в микрорайон Медведева автобус.

– А закусь где брать будем? – спросил Кондратьев.

– Гастроном от нас через дом. Небогатый, но что-нибудь найдётся точно.

Диагональная, усаженная тополями аллея была узка, но не столь запружена народом. Они шагали свободно, перешучиваясь, временами, лихости ради, вороша ногами сметённые к бордюрам кучи высохших листьев. Валерьян, блуждая праздным взглядом по сторонам, вдруг увидев идущую прямо навстречу Инну.

– Привет! – сказал Валерьян, останавливаясь.

Инна подняла голову, улыбнулась, обвела взглядом остальных.

– Привет, физматовцы!

– А, прогуляла демонстрацию, – подмигнул Медведев. – Не видел тебя в колонне.

– Так из химиков вообще почти никто не пришёл. Все они “сачки”, – подпел Кондратьев.

– Ладно... – укорил приятелей Валерьян. – У нас у самих народ сачковал.

Инна оправила тёмный, заломленный бок берет, произнесла равнодушно:

– Да многие теперь сачкуют. Проходила с подругой мимо площади – раньше людей больше собиралось, – она коснулась затянутыми в бежевые перчатки пальцами ярких, слегка обветренных губ. – Я вот тоже на демонстрацию не пошла.

– Чего ж так?

Инна глянула отстранённо.

– А-а...

“Умер что ли отец?” – подумал Валерьян, испытав болез-

ненно-щемящее чувство.

– Сейчас-то куда? – спросил он.

– Так...

– Ну давай вместе пройдемся, – вылезла на лицо Валерьяна ухарская улыбка. – Праздник как-никак.

Инна улыбнулась с грустинкой:

– Праздник...

Однотруппники Валерьяна переглянулись, кто-то ухмыльнулся в воротник. Только Томилин ляпнул, глуповато моргнув:

– Мы к Витьке, домой. Может, лучше с нами.

Медведев неторопливо опустил ему на шею руку.

– Да вопросов-то, Валюх, – покладисто улыбнулся он. – Придешь позже – с тебя простав.

Томилин скосбочил шею, выглядывая из-под лежащей на нем руки, озадаченно приоткрыл рот.

– Чего ты, ну... Они ж с “картошки” еще крутят, – шепнул Медведев, увлекая его далее по аллее.

Следом за ними затопали и остальные.

Инна, одетая в короткое не по сезону пальто, осталась стоять подле Валерьяна.

– Знаю, ты приходил потом в наш колхоз, – заговорила она, пристально на него поглядев. – Мне передали.

– Приходил, – радуясь, что не приходится самому сплетать слова, сознался с охотой Валерьян. – Но тебя уже не было.

Они, не сговариваясь, неспешно побрели вдвоём в обрат-

ную сторону, к главной аллее. Вокруг шатался праздный, гомонящий люд. Дети на газонах, задорно вереща, кувыркались на лиственных кучах.

– Мама телеграмму прислала: отца в больницу увезли, – сказала Инна. – Не могла я больше оставаться.

Валерьян примолк задумчиво, облизал языком нижнюю губу.

– И как он теперь?

Он понимал, что ответ Инны определит их последующий разговор.

– Более-менее. Выписали пару недель назад.

Она подняла вверх грустное лицо, задержала взгляд на скукоженном, не слетевшем ещё с ветки листке.

– Только всё это было без толку – опять пьёт.

Отец Инны был жив – и это окрылило Валерьяна. Он взялся поворачивать тему их разговора.

– А знаешь, примета складывается: как праздник – так мы встречаемся. Помнишь, тогда, на Первое мая: тоже после демонстрации, в этом же парке...

Она глянула на него из-под ресниц, воздела в быстрой улыбке уголки рта:

– Думаешь, неспроста?

– Неспроста – выдержав краткую паузу, Валерьян попросил: – Поэтому, чтобы в следующий раз не полагаться на совпадения, дай мне, пожалуйста, номер своего телефона.

Инна покачала головой, и в интонации её засквозила лёг-

кая печаль:

– Телефона у нас нет. На очереди стоим-стоим, а всё не проведут.

Валерьян огорчённо заложил за щёку язык, но Инна, улыбнувшись, дала совет:

– Ты меня лучше у факультета лови, после занятий. Я не сразу домой иду. То стенгазету рисовать помогаю, то ещё что-нибудь.

Химический факультет располагался от физматовского корпуса не близко, в нескольких автобусных остановках. Однако Валерьян, подмигнув, уверенно пообещал:

– Поймаю. Не убежишь.

Шутливой раскованностью он будто пытался себя подстегнуть.

Они, выбредя на главную аллею, незаметно прошли её в обратном от главного входа направлении всю до конца, до решётчатых ворот, выводящих на Калининский проспект.

– Знаю, через пару кварталов отсюда заведение одно есть. Давай зайдём, выпьем чаю, – предложил Валерьян.

Инна, скрестив на груди руки, застужено повела плечами, взморгнула с озорством.

– Давай.

Кафе им пришлось искать долго. В том, про которое говорил Валерьян, не нашлось свободных мест. Пришлось идти ещё за несколько кварталов, в другое. Валерьян, ведя всё более и более непринуждённый разговор, рассказывал про

однокурсников и товарищей, про их проделки в колхозе, про вызывавшего там всеобщую неприязнь аспиранта. Инна слушала с увлечением, иногда дурашливо всохатывала, прикрывая ладонью рот.

В кафе, усевшись за столиком возле стойки, они проболтали часа два. Инна, словно оттаяв от историй и присказок Валерьяна, охотно шутила сама, и разговор их вязался уже совсем легко.

После кафе Валерьян отправился её провожать. Доехав на автобусе до начала Авиационной улицы, утыкавшейся здесь в мост, уводящий в Зареченский микрорайон, они сошли у приземистой жёлтой пятиэтажки. Однако у самого входа во двор Инна вдруг остановилась:

– Дальше я сама, ладно? – попросила она.

Валерьян удивлённо взморгнул.

– Да вечно у подъезда соседи сидят. До всего им есть дело.

– Ну так и что?

Инна, отведя конфузливый взгляд, выдавила:

– Ну, не хочу... не надо...

Валерьян, немного обиженный, приобнял её за спину, но когда прядь её волос обволокла его щеку, отстранился назад.

Инна подняла голову, посмотрела ему в глаза.

– Ты мне нравишься. Честно, – сказала она.

И, повернувшись, зацокала по асфальту каблуками туфель.

XIII

Ештокины, заметив, что сын стал надолго задерживаться после занятий и реже оставаться вечерами дома, насторожились. Валерьян ничего им не рассказал, будто и сам ещё сомневаясь в прочности завязывающихся отношений, а на родительские вопросы отмалчивался, либо сводил всё в шутку.

– Смотри, сессию не завали, – предостерёг его однажды Павел Федосеевич. – Лишишься стипендии – и цветы купить будет не на что.

Валерьян вздрогнул, неприятно удивленный отцовской пронизательностью, но смолчал, глуповато и неестественно улыбаясь.

Павел Федосеевич без труда угадывал настроение сына. Много в нём оказывалось удивительным образом созвучно его собственным настроениям, чувствам. Жизнь, казавшаяся до сих пор опреснённой, в чём-то даже постылой, начала, Павла Федосеевича, словно влюблённого юнца, пьянить. Центральные газеты он читал ежедневно, до последней страницы. Тех, что по подписке доставлял почтальон, ему более было недостаточно, и утром, перед работой, он обходил киоски и покупал ещё. Если же какой-нибудь свежий номер, расхвачанный с раннего утра, достать не удавалось, Павел Федосеевич прямо вскипал.

– Плановики-марзаматики, – ругался он. – И деньги есть,

и спрос есть – а вот не купишь!

Зато известие о том, что всякие лимиты для подписчиков журналов и газет отныне сняты, и с будущего года можно будет выписывать сколько угодно изданий, вызвало у Павла Федосеевича восторг. В этой мелочной поблажке властей он угадывал предвестник могучего, уже почти осязаемого поворота.

– Пробивает, пробивает живое слово дорогу! Не задушишь его больше цензурой! Нет! – взвинчено восклицал он, мечась по кухне.

Читал, как и многие вокруг, Павел Федосеевич беспрерывно: утром за завтраком, во время езды в автобусе, на работе, в час обеденного перерыва, по вечерам. Читал почти всё, что выходило: газеты, толстые литературные журналы, свежизданные, дерзкие книги.

Читая, он не мог не соглашаться с напечатанным. В публикациях, очерках, фельетонах, желчно высмеивающих туповатых и лицемерных партийных функционеров, с бесстыдством развораживающих самые отвратные, гадливые стороны жизни, он легко улавливал собственные, давние и выстраданные переживания, мысли. Вспоминал трескучих институтских комсorghов, напыщенных, уничижительно взирающих профессоров, хамоватого, властного зам. директора НИИ, который, переезжая на новую квартиру, принудил грузить и перетаскивать мебель целый их отдел – и душа его исполнялась отвращением.

“Да вся страна давно уже всё понимает. Всё с этим строением ясно. Всем!” – вбуравливалась в его мозг, точно сверло, горячая мысль.

Подобное творилось не с ним одним. Читал весь их институт, все научные сотрудники, завлабы, даже лаборанты. Но споры, как ни странно, закипали редко – всем казалось, что спорить совершенно не о чем и не с чем. Негодование, омерзение, стыд охватывали людей после прочтения почти всякого газетного номера. Но они, однако, без колебаний покупали на завтра следующий, будто одержимые болезненным сладострастием, желали поглубже разбередить наносимые ими раны.

– Как? Как же мы жили посреди всего этого... кромешно-абсурда, не замечая ничего, точно слепые? Как?! – откладывая “Московский комсомолец”, даже не вскричал, а простонал однажды завлаб Василий Першин, делящий с Павлом Федосеевичем кабинет.

Павел Федосеевич, закатив к потолку глаза, молчаливо и выразительно развёл руками.

Спустя несколько дней после ноябрьской демонстрации, на которую из целого их института ходили, да и то чуть ли не стыдливо таясь, лишь члены партийной ячейки, Павел Федосеевич прочёл в центральных газетах развёрнутые материалы о свершающемся в ГДР. До того по телевидению прошли новостные сюжеты из Восточной Германии: множество людей шумно и суетливо, точно маргышечья стая, карабкались

через пограничную стену в Берлине. Диктор, словно прикусывая на каждом слове язык, лаконично сообщил об упразднении разделяющей народ границы.

– Прорвали стену – и хорошо! Теперь и у нас перестройка быстрее пойдёт, – заключил Павел Федосеевич, благостно рассматривая напечатанные фотоснимки.

Азартно увлечённый, как и сын, но не женщиной, а политикой, Павел Федосеевич тоже взял привычку задерживаться допоздна. Вместе с Першиным и ещё несколькими научными работниками из НИИ, он стал ходить на собрания недавно открывшегося клуба. Тот вторничными и пятничными вечерами собирался в конференц-зале педагогического института и название носил воодушевляющее, но простое: “За перестройку!”.

Новый клуб совсем не походил на существовавшие в городе прежде, атмосфера которых, по мнению Павла Федосеевича, изначально была пропитана одной лишь забубённой казёнщиной и скукой. В нём почти всё казалось непривычно и ново.

Необычной была и личность его председателя. Им являлся млажавый преподаватель политэкономии, востроносый, подвижный лицом шатен, носивший редкую в их краях фамилию Винер. Павел Федосеевич, придя на первое собрание, удивился: председателю можно было дать на вид едва ли за тридцать. Ранее ему не доводилось встречать руководителей, столь несолидных годами.

Заседания клуба проводились в форме оживлённых, полных бойкой полемики семинаров. Евгений Винер – знакомясь с новыми участниками, он сразу просил, чтобы к нему обращались только по имени, без отчества – оглашал тему, произносил вступительное, весьма цветистое слово, после чего предлагал высказаться по очереди всем присутствующим.

Темы обсуждались различные, но непременно те, что были на слуху: предстоящий второй съезд народных депутатов, требования Народных фронтов прибалтийских республик, катастрофа Аральского моря, проекты поворота сибирских рек...

Дискуссии проходили с лихорадочной возбуждённостью, но без тяжких, мучительных споров, легко. Всякий выносимый на обсуждение вопрос вызывал в витийствующих участниках семинаров непреодолимое желание лягнуть партийных, номенклатуру, КПСС – точно бы все, приходящие в клуб, испытывали пьянящую радость лишь от того, что обрели здесь возможность прилюдно костерить власть. О чём бы изначально ни шла речь, почти никто из присутствующих не удерживался от колкостей, ехидств и даже прямой брани по адресу “партократов”. Убеждение, что корень всех дефицитов, очередей, жизненных неурядиц – партийное дуроломство, жило неистребимое. Оно, словно пароль, превращало сразу в завсегдатая клуба каждого новичка, явившего при всех сходное чувство.

Собиравшиеся в клубе, сами бурля во время собраний, одновременно упивались и бурлением Союза, бурлением мира. Во всём им виделся сокровенный, рвущийся, точно росток сквозь отмирающую шелуху, смысл.

Новости из Восточной Европы от недели к неделе приходили оглушающие. Их, веря и не веря, выуживали из прессы, теленовостей, но чаще и с неизмеримо большим доверием – из репортажей вещавших на Союз иностранных радиостанций, которые отныне совершенно перестали глушить. Иногда кто-нибудь приносил законспектированные на тетрадных листах сообщения радио “Свободы” про Восточную Германию или Польшу и, словно стремящийся поделиться распирающей радостью ребёнок, принимался их зачитывать.

– Глава госбезопасности ГДР подал в отставку... публично просил прощения у народа... – путаясь в корявых, наспех начирканных, неровных строчках, оповещал какой-нибудь благообразный доцент.

Лицо его при этом светилось зачарованной улыбкой, словно у ребёнка, наслаждающегося обвораживающей воображение сказкой.

Винер с удовлетворением подчеркнул:

– Европейцы, заметьте, оказались организованнее, смелее нас. Мы пока только говорим, а они свою номенклатуру уже гонят повсеместно. Что в Берлине, что в Варшаве, что в Праге. Что, безусловно, очень показательно. В этой стране, – Винер скосил большие, влажные глаза в сторону густо заляпан-

ного хлопьями мокрого снега окна, – всегда так было – Европа для неё во всех начинаниях служила маяком.

– Раз уж подцепили от европейцев этот чёртов марксизм, то давайте поучимся и тому, как его изживать, – сострил Першин.

– Пусть только урок преподадут до конца – мы прямо за-конспектировать готовы...

Зазвучали шутки, смешки.

– Да нет, не все там ещё прозрели, – раздалось вдруг возражение. – Чаушеску вон в Румынии крепко сидит пока. Не сдвинуть прямо.

– Даже заявил недавно, что Дунай скорее потечёт вспять, чем у них там перестройка начнётся, – подзадорил Павел Федосеевич. – Каков?

Винер сложил губы в издевательскую гримасу.

– Комендант турецкого Измаила тоже когда-то поворота Дуная ожидал. Ну-ну... – процедил он, веселя сведущих в истории единомышленников.

– Этот “кондукатор” – такой же неменяемый сталинист, как и тот, албанский... – Першин запнулся, силясь вспомнить фамилию умершего несколько лет назад руководителя Албании, слывшего одиозным диктатором.

– Энвер Ходжа, – подсказал Павел Федосеевич.

– Да, Ходжа этот, тьфу ты, – Першин выговорил фамилию албанского деятеля с омерзением, чуть не плюясь. – Он ведь совершенно полоумный был. День рождения Сталина госу-

дарственным праздником объявил. И в Албании его до сих пор, представьте, отмечают. До сих пор!

В груди у многих захолонуло. Сталин и связанное с ним давно сделалось для всех олицетворением всего невежественного, бесчеловечного, деспотичного, что только можно было себе вообразить. Имя Сталина, его эпоха вызывали оторопь, дрожь, от тех, кто пробовал его защищать, отшатывались в отвращении, словно верующие от дьяволопоклонника.

– Вот видите, мы ещё, оказывается, сносно живём. Может быть хуже, – заметил с сарказмом близорукий, чуть картавящий инженер в вытянутом на локтях свитере.

С нетерпением ожидали в клубе приближающийся депутатский съезд, который должен был открыться в Москве 12 декабря. С середины ноября до него начинали отсчитывать дни.

Ожидали жизнеопределяющего: совестящих речей академика Сахарова, новых атак “межрегиональной депутатской группы” на КПСС, жёстких заявлений от депутатов из Прибалтики...

– Надо врезать по номенклатуре как следует. Пора! – выразил Винер обуювшую их общую веру.

Верить действительно было во что.

В конце ноября, в Верховном Совете, в крикливых, нервных дебатах определялась повестка грядущего съезда. “Межрегионалы” напористо давили на Совет, добива-

ьясь, чтобы вопрос об отмене шестой статьи союзной конституции, утверждавшей политическое верховенство КПСС в жизни страны, был вынесен на всеобщее голосование делегатов. Переубедить и перекричать всех не удалось. Большинством депутаты постановили проголосовать сначала в Совете – и предложение межрегиональной группы, не набрав трёх голосов, не прошло. Демократы-реформаторы негодовали и горевали, но упразднение шестой статьи не удалось сделать предметом обсуждения всего съезда.

– А может, этих троих за пять минут до голосования силком в туалет утянули? Кто ж его знает? – узнав по радио о провале затеи, бросил в сердцах Першин.

– “Не важно, как проголосовали – важно, как подсчитали”. Ага... Знаем прекрасно, у кого вся эта публика уроки берёт, – улыбался саркастически и недобро Винер. – Мечтать, что номенклатура власть вот так добровольно отдаст – наивность. Что в Верховном Совете, что на съезде большинство депутатов – коммунисты.

– Не уйдут по-хорошему они... нет... Готовятся душисть... – колупал ногтем подбородок картавый инженер Райский. – Вон, эта наша дубина Артемьев целый митинг на седьмое устроил. Чуть не к оружию призывал...

– Не отрываясь, говорят, от бумажки, – хмыкнул в горьком ехидстве Павел Федосеевич.

– А по-другому они, тупые партократы, и не умеют. Без бумажки у них ничего не делается, даже репрессии. В трид-

цать седьмом в каждую область разнарядки спускали: столько-то врагов народа расстрелять, столько-то посадить, столько-то выслать...

– Сейчас, может, тоже уже спускают, – угрюмо предположил Першин. – Поиграют ещё немного в демократию – и всё. Прощай, советская весна!

– Ну нет, как тогда, в Праге, сейчас не выйдет! Народ более не тот, – горячо возразил впервые пришедший на собрание один университетский доцент. – В Москве уже стотысячные митинги против КПСС собираются. Общество не потерпит!

За начавшимся вторым съездом следили, как и за первым – прильнув к радиоприёмникам и телевизорам даже в рабочее время. Первое заседание тонуло в долгой, бесплодной полемике. Упрямые “межрегионалы” вновь озвучили своё предложение по конституционной реформе, обращаясь уже ко всему, в две с лишним тысячи делегатов, съезду. Но его завернули большинством голосов вторично, не сочтя нужным включать в повестку.

Ещё через день всех оглушило сообщение программы “Время”. В ней объявили, что умер народный депутат, давний диссидент-антисоветчик, академик Андрей Сахаров.

XIV

В пятницу 15 декабря в конференц-зале не хватало ни стульев, ни мест. Десяткам людей, многих среди которых Павел Федосеевич тут ранее никогда не встречал, пришлось приволоочь из коридора скамьи и даже тумбочки. Но даже и тогда иные, явившиеся к самому началу собрания, остались стоять, затиснутые к стенкам и к углам нахлынувшей массой.

Открывший заседание Винер был лаконичен. Встав, он глухим, трагическим шёпотом призвал всех почтить память умершего академика минутой молчания. Но, упреждая его призыв, люди начали подниматься со стульев, скамеек и тумб сами, застывая в горестном и торжественном безмолвии. Один пожилой, в бежевом пиджаке, человек, перебивая Винера, вскричал отрывисто:

– Это не просто смерть! Это гибель! Гибель!

Крик его, срываясь, обратился в дрожащий всхлип.

Павел Федосеевич чувствовал, что разрыдаться в этот миг готовы многие.

Перед возвращённым из горьковской ссылки маститым академиком, долгими десятилетиями поносящим компартию в самиздатовских очерках и брошюрах, в клубе испытывали пиетет, а кто – просто трепет. О чём бы академик, шурясь и шамкая, ни вёл на съезде речь – о ядерном разоружении, о замалчиваемой афганской войне, о будущем устрой-

стве освобождённой от коммунизма России – всё в ней виделось наполненным глубоким смыслом. Щуплый, впалогрудый Сахаров казался многим людям провидцем, пророком. Ему, создателю чудовищной бомбы и одновременно по-детски наивному, юродствующему гуманисту, верили безоглядно и истово, словно святому – как, наверное, только и мог верить неверующий в бога советский человек.

– Да сам ли Андрей Дмитриевич умер? – сокрушённо воскликнул Першин. – Не забывайте: это случилось буквально через день после того, как он вновь принципиально потребовал отмены шестой статьи!

Вокруг всколыхнулись:

– От КГБ чего хочешь ждать можно!

– Свели, сволочи, в могилу принципиального человека.

Не в Горьком, так в Москве...

– Конечно, свели! Партократам такие, как кость в горле.

Собрание клокотало, словно площадной митинг.

– Друзья, а давайте на девятый день выйдем все на нашу главную площадь, чтобы почтить память Андрея Дмитриевича, – предложил вдруг один парень-аспирант. – В Москве тысячи на его похороны придут, а мы что ж...

Гул усилился. Предложи он этим потрясённым, взвинченными людям выйти на улицу прямо сейчас, они бы вышли без колебаний.

– Правильно, надо почтить! – закричал Першин.

– Все выйдем. И портрет вынесем. Чтобы люди знали, кто

сегодня настоящий, подлинный гражданин.

Кто-то вытащил из кармана открытку-календарь и, торопливо водя пальцем по столбцам чисел, принялся вслух отсчитывать девять дней. Винер заспорил с Першиным о том, как правильно считать: с самой ли кончины или со следующего дня.

– Конечно со дня смерти. Так принято, так всегда считают, – подсказывали отовсюду.

– Двадцать второго получается, следующая пятница, – проговорил тот, что высчитывал по календарю. – Через неделю.

Человек в бежевом пиджаке, отерев платком увлажнённое, багровое лицо, воскликнул в зловещей решимости:

– Пусть они только посмеют запретить! Пусть только...

Текст заявки в райисполком на проведение траурного митинга начали составлять здесь же, во время собрания. Никто, правда, толком не знал, что в ней следует писать, даже Винер.

– Юристы среди нас есть? – обращался он несколько раз к окружающим. – Помогите правильно сформулировать.

Юристов не нашлось. Проспорив, решили в итоге поступить просто: письменно объявить властям о том, что желают провести акцию в память об академике Сахарове и подкрепить такое объявление ссылкой на пятидесятую и пятьдесят первую статьи Конституции СССР. Кто-то, чуть лучше подкованный в законах, подсказал, что они гарантируют граж-

дана свободу слова и свободу собраний.

– Пусть-ка соблюдут собственную конституцию. Хоть раз, – присовокупил он.

Гораздо более страстный спор закипел, когда стали выбирать место для манифестации. Против центральной площади вдруг резко высказался Борис Костюкевич, тощий, неопрятно лохматый пенсионер, в прошлом доцент университетской кафедры иностранных языков:

– Позвольте, уважаемые, – хрипловато заскрипел он. – Вы забываете, что посреди этой площади стоит памятник Ленину – основателю советской тоталитарной системы. Проводить митинг возле подобного монумента было бы кощунственно по отношению к памяти Андрея Дмитриевича. Он жизнь положил на борьбу с тоталитаризмом.

– Но ведь это самый центр города. Там всегда людно, – неуверенно возразил аспирант.

Костюкевич, раздражаясь, стянул лицо в желчные морщины:

– Напоминаю, мы выходим почтить Андрея Дмитриевича. Место не должно оскорблять память великого мыслителя-гуманиста. Мне жаль, молодой человек, что вы настолько нечутки.

– А куда ж тогда выходить? – спросил Павел Федосеевич, теряясь перед логикой Костюкевича.

– Разве больше некуда? Центральный парк, памятник космонавтам возле Политехнического института, краеведче-

ский музей... А туда, к Ленину, пусть коммунисты ходят.

– Давайте Университетскую площадь укажем в заявке, – предложил Винер. – Она и в центре, и оживлённая всегда, и истуканов там никаких поблизости нет. Да и вообще, где же ещё, как ни возле университета, проводить митинг памяти выдающегося учёного, академика?

Против доводов Винера не возразил никто, даже Костюкевич отмяк, благосклонно кивая. Заявку переписали набело, на чистый лист. Винер аккуратно сложил его вдвое и убрал в портфель.

– Отпечатаю дома на машинке и завтра же отнесу в райисполком, – пообещал он.

Поданную бумагу согласовали быстро, не чиня никаких препон. Служащие администрации не возразили заявителю ни словом. Однако когда Павел Федосеевич объявил дома о том, что в ближайшую пятницу пойдёт на митинг, Валентина отнеслась к этому с тревогой.

– Ты наверняка знаешь, что вам всё разрешили? – беспокойно допытывалась она.

– Наверняка. Я Евгению звонил – он вчера ответ получил от райисполкома. Всё согласовано, всё по закону.

Но жену это не вполне убеждало:

– А на работе потом неприятностей не возникнет? Начальство-то ваше всё в КПСС как-никак.

Павел Федосеевич хмыкал в кулак:

– Потихонечко им, партийным, сидеть теперь надо, – и, сердясь

на боязливость жены, прибавлял воинственно. – Хватит уже на начальство оглядываться. На съезде всю эту номенклатурную свору в пух и прах разносят, а ты всё боишься.

Собрания в клубе, газеты, радио, съезд – всё возжигало в Павле Федосеевиче боевитый задор. Колебания, боязнь казались ему зазорными, стыдными.

Валентина, улавливая настроение мужа, перечить не стала, однако всё же, из присущей женщинам осмотрительности, попросила:

– Ты бы всё-таки слишком там не высовывался, а? Как всё потом повернётся – неизвестно. Вдруг снова, как раньше, сажать да в психушки укладывать начнут?

Павел Федосеевич в терпеливой назидательности разъяснил:

– Вот чтобы соблазна такого у верхов не возникло, людям и нужно выходить, не бояться. Нельзя на одних только депутатов-межрегионалов уповать. Они мужественные люди, но они не мессии, и без нас самих ничего добиться не смогут. Чем больше сознательности проснётся в рядовых гражданах, тем меньше у КПСС возможностей вернуть всё как раньше.

Митинг назначили на половину седьмого вечера, дабы все на него успевали придти. Костюкевич из участников клуба был единственный пенсионер, все остальные работали.

В пятницу, двадцать второго, Павел Федосеевич, слиняв из института пораньше, явился на Университетскую площадь загодя, к шести. Не терпелось начать митинг не ему

одному. Придя на площадь, Павел Федосеевич сразу встретил и Винера, и Костюкевича, и ещё нескольких соратников. У обочины, вертя головами по сторонам, топталась пара настороженно-насупленных милиционеров.

– В курсе, что сейчас в Румынии происходит? “Голос Америки” передал, – сразу кинулся к Павлу Федосеевичу взбужденный, места не находящий себе Костюкевич. – Восстание... Бухарест в баррикадах... бои....

Тот заморгал, опешив, зачесал мёрзнувший подбородок. У него в рабочем кабинете радиоприёмника не было.

– В Румынии? Чаушеску свергают?

– Его, подонка! Армия, народ восстали... Диктатор бежал... Коммунистов, гебешников казнят на месте. Как тогда, в Будапеште...

Глаза Костюкевича, расширяясь, сверкали в воспалённом упоении – так, будто он, мечась взором по заледенелой площади, наяву видел бушующую румынскую столицу, разгромленные, с выбитыми стёклами здания госбезопасности, выводимых оттуда под автоматами беспомощных, со сцепленными за затылком ладонями, людей.

К центру Университетской площади начинал сходить народ. К манифестантам из клуба подступали прохожие, задавали удивлённые вопросы, втягивались в разговор. Едва Винер и Першин достали крупные фотографии академика, как вокруг них образовывалось кольцо.

Инженер Райский и аспирант Мельтюхов растянули

транспарант: белое прямоугольное полотнище, на котором чёрными, выверенными по линейке буквами было выведено: “А.Д. Сахаров – честь и совесть эпохи”.

Поначалу манифестанты ощущали неловкость. Выходя сюда, они так и не смогли твёрдо уговориться, кто из них должен публично выступить. За несколько дней до поминальной акции по этому поводу произошёл на собрании спор. Винер настаивал, что на площади необходимо произнести речь – как и на всяком траурном митинге. Но Костюкевич опять возразил, заявив, что масштаб трагедии таков, что любые слова запоздалы и неуместны – потому лучше просто молчаливо простоять на площади час, держа фотографии покойного и склонив головы.

– Речей и так произносится сейчас сверх всякой меры. Даже Горбачёв подключился, лицедействует. Те, кто никогда не ценил Андрея Дмитриевича при жизни, пытаются сейчас заработать на его смерти политические очки. Противно! Не будем присоединяться к такому хору, – подчёркивал он.

Против этого снова не смогли найти внятных возражений, Костюкевич умел убеждать. Потому уговорились так: специально выступлений не готовить, но если у кого-нибудь на месте, на площади, начнут рваться наружу слова “с кровью сердца”, то пусть говорит беспрепятственно и сколько хочет.

Акция началась молчаливо.

Когда подняли фотографии и развернули транспарант, к манифестантам подошёл один из милиционеров, в погонах

капитана. Он, вчитавшись в надпись на полотнище, оповестил скапливающуюся толпу:

– Уважаемые граждане, ещё раз напоминаю о необходимости соблюдать общественный порядок. Митинг согласован райисполкомом, он продлится час, до девятнадцати-тридцати.

Некоторые из членов клуба принесли с собой по две алых гвоздики, но теперь не могли решить, что ними делать: то ли положить возле транспаранта на выстуженный, в наледях, асфальт, то ли просто стоять с ними, сжимая в руках. Мельтюхов вынул из кармана моток клейкой ленты, подошёл к держащему фотографию Першину и принялся прилаживать к её нижнему левому углу цветы.

– Давайте так. Не под ноги же в самом деле класть.

Костюкевич настороженно сощурил близорукие глаза, взгляделся, затем благосклонно кивнул.

Морозило ощутимо, но люди с центра площади не расходились, притягивая к себе всё новых и новых любопытствующих. К семи часам народу скопилось более сотни. Переговаривались негромко, словно на кладбище – скорбные позы и лица манифестантов быстро заражали остальных соответствующим настроением. Лишь один сухощавый тип в полушубке, всмотревшись в фотографии и в надпись на транспаранте, бросил вдруг вызывающе:

– А не много ли этот ваш совестливый на себя брал? А остальные что, бессовестные, да?

Стоящие рядом ахнули.

– Когда Андрей Дмитриевич партократию обличал, остальные молчали. Носить фигу в кармане и совесть иметь – разные вещи, – ответил Винер, не повышая голос.

– А когда страну на сотню кусков разрезать требовал – это тоже по велению совести? Тоже мне, правдуроб...

Костюкевич, Першин, другие манифестанты взъярились:

– Провокатор! Долой! К Нине Андреевой убирайся! – вопили они вне себя, маша руками.

– Гебист что ли в штатском? Нарочно подначивает? – услышал Павел Федосеевич за спиной приглушённый голос Винера.

– Прекратите злословить, гражданин! Ведь человек умер! Стыдно! – гудела толпа.

Сухощавый, будто ища поддержки, завертел головой, но отовсюду нёсся ропот. Злость в его взгляде сделалась жгучей.

– Жалеете? А когда этот совестливый академик призывал Америку атомные бомбы на нас сбрасывать, страну, народ не жаль было? Нет?

Толпа зашлась в негодующем гвалте.

– Вон отсюда! Пошёл вон!!! – заорал Костюкевич, белея лицом.

Сухощавый попятился, огрызаясь ругательствами. Затем в ожесточении плюнул, резко развернулся, зашагал прочь.

– Что, ретировался? У-у, холуй партаппарата, – с ненави-

стью прошипела ему вслед широкобёдрая, похожая на пожилую учительницу, женщина в дублёнке.

Взбешенный Костюкевич выступил вперёд:

– Граждане! Вы слышали сейчас речи раба! Низкого, подлого раба! Вот такие как этот тип по команде номенклатуры травили Андрея Дмитриевича десятилетиями! Они и сегодня, в трагические дни кончины, пытаются заляпать грязью его великое имя. Они органически ненавидят всё возвышенное и благородное! Их же просто корёжит от голоса свободного гражданина! Но знайте: никто из них никогда не посмеет выйти против нас честно, лицом к лицу, один на один. Вы все видели сейчас, как этот раб трусливо бежал. Вот так он и ему подобные будут отныне бежать всегда. Падают уже берлинские стены! Рушатся преступные режимы страха и концлагерей! Пророк и провидец Андрей Дмитриевич Сахаров чуть-чуть не дожил до этих великих дней. Андрей Дмитриевич!..

Крик Костюкевича перешёл в дикий, исступлённый вопль. Он, подогнув неловко старческую, плохо слушающуюся ногу, припал на колени.

– Андрей Дмитриевич! Знай, твоё дело побеждает повсюду! Россия, Европа, мир – они будут, будут свободными! Будут!!!

Павел Федосеевич онемел, потрясённый. Он поднимал высоко, точно знамя, фотографию Сахарова, что-то воодушевлённо, не помня себя, кричал. Если бы Костюкевич по-

вёл сейчас всех на обком срывать и топтать красное знамя, он устремился бы за ним, не задумываясь. Устремились бы, как за вожаком и остальные...

Посреди распалённых людей метались растерянные, со съехавшими к затылкам шапками, милиционеры.

– Граждане, успокойтесь. Граждане...

XV

Отмечать Новый год вместе Валерьян с Инной решили загодя, но долгое время не могли придумать, куда пойти. Звать Инну в гости Валерьяну не хотелось – чинное сидение за родительским столом большого веселья не сулило. С родными Инны было того хуже. Отец, как она рассказывала, вновь “ушёл в штопор”, каждый день пил и скандалил с женой. Та, видимо, не желая видеть его хотя бы в праздник, записалась в новогоднюю ночь на дежурство в своей больнице. Они перебрали в уме нескольких знакомых, друзей, но те оставались в праздник с домашними и компаний не собирали.

– Как же нам быть? – с грустью спросила Инна в один из последних дней декабря.

– Придумаем. Найдём, к кому пойти, – ободрил Валерьян, колулая, однако, ногтем губу.

Виделись они часто, по три или четыре раза в неделю. В будние дни Валерьян, как правило, встречал её у выхода из университетского корпуса, в котором помещался химфак. Дожидаясь, пока Инна, выстояв очередь в гардероб, заберёт своё пальто и выйдет наружу, он, притопывая на холоде ногами, топтался у бюста Менделеева во дворе, нетерпеливо поглядывая на ежесекундно раскрывающуюся высокую массивную дверь. Иногда, желая чем-то занять нетерпеливые руки, он принимался отламывать от бороды Менделеева со-

сульки, разбивая их затем забавы ради о бордюр. Иногда на него начинала ворчать копошащаяся возле урны уборщица, но Валерьян лишь с хохотом подмигивал в ответ.

– Сами б тогда очистили памятник! – восклицал он. – А-то стоит заметённый – и дела никому нет.

Если мороз стоял не особенно сильный, они с Инной шли к центральной площади, в парк, постепенно забредая вдвоём на самые снежные, малолюдные аллеи. Иногда, желая вытрясти из себя пробирающий тело озноб или просто дурачась, они принимались играть там в снежки, пуляя друг в друга со смехом скатанными кругляшами. Снежные комья тотчас рассыпались, ударяясь в плечи и грудь, и от брызжущих в лицо ледяных ошмётков щёки и подбородок Инны розовели, делаясь припухлым и влажным. Валерьян, будто в азарте игры, обнимал смеющуюся, отряхивающую снег Инну, прикивал к её разомкнутым, тёплым губам...

В слишком холодную или вьюжную погоду они отправлялись в крутивший новый, незнакомый ещё фильм кинотеатр или в свободное кафе. Иногда, засев за какой-нибудь дальний, затиснутый в угол столик, они просиживали по два-три часа, находя удовольствие в долгом, доверительном разговоре.

До Нового года оставалось три дня, когда, наконец, они придумали, где встречать праздник. Медведев, как и седьмого ноября, стал сзывать одноклассников домой:

– Предки отчелят ещё днём, в гости. Так что гуляй – не

хочу.

В этот раз, правда, большой компании не получалось – всё-таки большинство студентов думали праздновать по домам. К Медведеву собрались Кондратьев, да Федя Сорокин с подругой Наташей.

– Хороший он парень, не заскучаем, – говорил Инне Валерьян. – Помнишь колхоз? Такие там шутки откалывал!

Его, далёкого от показного ухарства, всё же отчего-то тянуло к лихому, прямодушному Витьке.

С приятелями Валерьян уговорился так. Шампанское каждый принесёт с собой. По поводу остального Медведев заверил сразу:

– Насчёт закуси даже не думайте. Я пригласил – я и угощаю. Всё равно моя мать наготовит столько, что всего и в три дня не съесть.

– А водка? – шмыгнув носом, спросил Сорокин.

– А что водка? – по-хозяйски всохотнул Медведев. – Проставлюсь.

– Всё из колхозных запасов? – сострил Кондратьев.

– Из казённых... – он усмехнулся вновь. – Дядька с водочного завода подогнал. Вы, главное, “шампуня” добудьте. Затарьтесь в магазинах, пока не расхватали его.

Родители огорчились, когда Валерьян им объявил, что отмечать Новый год решил не дома. Такое было для них непривычно, в прежние годы сын в праздник оставался с ними, никуда не уходил.

– Что ж за друзья-то у тебя такие появились? – допытывалась Валентина. – К нам бы что ли хоть раз пригласил, познакомил.

– Да, познакомил бы. А-то всё молчком, молчком... – подбавлял отец, хмыкая многозначно.

Валерьян пожимал плечами, теряясь, блуждал взглядом по стене, по замёрзшему, в узорах, окну. Про Инну родным он до сих пор ничего не рассказывал. Она была совершенно не того круга, к которому относились давние друзья их семьи, их благообразные дети – и это настораживало Валерьяна, интуитивно удерживая от откровенности.

Учебные дни на физмате длились до двадцать девятого, в этот день группе Валерьяна выставили последний зачёт. Инне же пришлось явиться и в самый канун праздника, тридцать первого. Один из преподавателей, престарелый и въедливый профессор-педант, изыскав ошибки в её курсовой, потребовал придти и в последний день года – представить новый, уточнённый расчёт.

– Вот охота человеку! Самого что ли дома никто не ждёт? – проворчал, узнав о том, Валерьян.

– Не ждёт. Он вдовец, одинокий. Он не только мне назначил. Со мной ещё пять человек не защитили работу с первого раза.

– Принципиальный какой...

Профессор Велижанин слыл в университете “кремнем”. Ветеран войны, доктор наук, разработчик новаторского спо-

соба производства фосфатных удобрений, в прошлом депутат облсовета, он действительно бывал к студентам немилосерден, часто вызывая тем к себе неприязнь. Но не менее немилосерден он бывал и к себе, скрупулёзно следуя всякому гласному правилу, хотя бы на него смотрело сквозь пальцы большинство остальных. Престарелый, но тугой телом профессор никогда, в отличие от многих других, не опаздывал на свои лекции. Почти не пропускал рабочих дней по болезни, иной раз являясь на занятия даже с кашлем, через силу. Терпеливо досиживал до конца указанные в расписании консультационные часы, хотя бы в них никто к нему не обращался. После лекций всегда обстоятельно отвечал на студенческие вопросы, даже глупые и дилетантские, не выказывая ни раздражения, ни торопливого намерения поскорее уйти.

Требователен, но и самоотвержен в своей увлечённости делом был этот старый, с привинченным к лацкану выцветшего пиджака орденом Красной Звезды ветеран-профессор.

– Он принципиальный, – подтвердила Инна. – Ему всегда надо, чтоб без сучка, без задоринки было...

Валерьян тридцать первого, прикинув время, отправился к химическому факультету к двум часам дня – от Инны он знал, что передача курсовой назначена на двенадцать. Вахтёра в предпраздничный день при входе не оказалось, и он, войдя, поднялся на второй этаж, где располагалась кафедра общей и неорганической химии. Ещё копошащийся в бумагах секретарь сказал, что Велижанин принимает задолжни-

ков в лаборатории, на этом же этаже.

Валерьян разыскал её быстро, безошибочно опознав по тяжеловесной, железной двери. Такая оказалась единственная во всём коридоре.

“Бояться что ли, что пробирки сопрут”, – подумал он, берясь за металлическую ручку.

Студенты, сидя по одному, возились со штативами, ретортами и спиртовыми горелками, а профессор, возвышаясь над поперечным, уставленным пробирками столом, сосредоточенно за ними наблюдал. За его спиной виднелись высокие, из прозрачного стекла шкафы, полные склянок и колб, заполненных ядовитых цветов содержимым.

– Молодой человек, вам кого? – обратился он к Валерьяну резким, не слишком приветливым тоном.

Инна оглянулась, увидев Валерьяна, заулыбалась, замахала рукой, силясь что-то ему жестами объяснить, но Велижанин её оборвал:

– Чупракова, не отвлекайтесь. Наблюдайте за ходом за реакцией.

– Скоро... скоро уже... Подожди, – приглушённо пробормотала она, сникая под давящим профессорским взглядом.

И, будто боясь навлечь новый окрик, поспешно повернулась вновь к своим ретортам.

Валерьян, недобро зыркнув на профессора исподлобья, закрыл дверь и уселся на скамью в коридоре. Властный, моментально покоряющий Инну тон Велижанина возбудил в

нѐм неприязнь.

Минут через сорок из лаборатории вышел парень.

– Ну что там? Скоро? – спросил Валерьян.

– Пока куранты не пробьют, – с мрачностью бросил он.

– А ты? Отстрелялся?

Парень, хмуря смуглое, нерусское лицо, недовольно выпятил губу:

– Отстреляешься у такого... Валит каждого, старый чёрт!

Повернувшись, он зашагал стремительно по коридору, ворча под нос, царапая стенку костяшками кулака.

– Старый чёрт...

Следующий из сдающих появился ещё минут через двадцать. И тоже был угрюм.

– Долго они там ещё? – снова спросил, раздражаясь всё сильнее, Валерьян.

– Да хрен знает! Сидят пока.

– Сам-то сдал?

– Ага, щас... Ёжика ему родить проще, чем сдать.

Парень, сердито гундося под нос, ушёл, а Валерьян, подобравшись к двери, осторожно её приоткрыл. Оставшиеся студенты всё так же корпели над расставленными на столах приборами. Велижанин, наклонившись над столом Инны, что-то ей объяснял, тыча пальцем в стеклянный корпус реторты. Поглощённый своими объяснениями, он даже не расслышал скрипа, издаваемого приоткрывшейся дверью. Инна скосила на миг в направлении двери глаз, вскинула в

таящейся улыбке уголок губы, но сразу же вновь обратилась к риторгам.

Валерьян, затворив дверь, вновь уселся на скамью. Его наручные часы показывали половину четвёртого. Матовые су-мерки затемняли коридор, растворяя его стены, проёмы, широкие доски пола.

Третий задолжник вышел из лаборатории через полчаса, но, в отличие от прежних двух, выглядел довольным.

– Умеет, старпер, душу выматывать, – выдохнул он, точно утомлённый долгой тяжкой работы.

– Сдал?

– Ну... Первый за сегодня.

– А остальные?

– Пишут ещё...

Валерьян, разминая ноги, прогулялся по коридору, поднялся даже на следующий этаж. Все аудитории были закрыты, кафедра тоже, даже свет, за исключением лестницы, уже почти нигде не горел. Здание совершенно опустело.

Валерьян прильнул к выходящему на улицу окну. По ней катили в обе стороны автомобили, по тротуарам сновали люди, на остановке, раскрыв створчатые двери, вбирал в себя пассажиров автобус. Перекинутые между фонарными столбами через проезжую часть гирлянды расцветенных лампочек перемигивались красными, жёлтыми, голубыми огоньками.

“Да что он там, вконец ополоумел?!”, – думал, возвраща-

ясь к лаборатории, Валерьян, постепенно вскипая.

В течение следующего часа лабораторию покинули ещё двое. Один был доволен, другой, выходя, с грохотом впечатал железную дверь в окованный металлом проём.

– Т-т-твою мать!

В лаборатории оставалась одна Инна.

Валерьян подступил к двери, дёрнул за ручку. Петли, резко повернувшись, издали саднящий скрежет.

Инна сидела всё за тем же самым столом, но реторта и штатив были теперь сдвинуты на его край. Она что-то чирикала ручкой на лежащем перед ней листке, а Велижанин, заложив руку в левый карман пиджака, склонив голову, благоклонно наблюдал, как она пишет.

– Устали ждать? – проговорил он с неожиданной мягкостью. – Ну, заходите.

Валерьян вошёл бесцеремонно, словно не допуская и мысли, что его могут не впустить, уселся за ближайший стол. Велижанин произнёс, посмеиваясь с плутоватой ехидцей:

– Что ж вы, Чупракова, людей томите? Неужели сами, без моих подсказок, сосчитать не могли?

Инна закончила писать и протянула лист. Велижанин, надев очки, читал внимательно, иногда делал пометки карандашом.

– Ну вот, вот... Другое дело, – бормотал он мягчеющим голосом.

Он оторвал глаза от листа и, поглядев на Инну, настави-

тельно приподнял стержнем вверх карандаш:

– Изначально ваша ошибка заключалась в том, что вы неверно определили исходные пропорции веществ – оттого и остальное не получалось.

Велижанин вернул Инне лист, взял зачётную книжку. Перелистывая страницы, он продолжал рассуждать о произведённом опыте, давал наставления, советы. Инна, не отводя осоловевшего взгляда от его руки, безмолвно наблюдала, как он витиевато выводит подпись.

– Как говорил Александр Васильевич Суворов: “Тяжело в учении – легко в бою”, – отечески изрёк Велижанин и вручил Инне книжку, будто награду. – С наступающим вас, молодые люди.

– Спасибо, – тихо выдавила Инна.

Казалось, на то, чтобы прибавить “и вас”, у неё не оставалось сил.

– Ну и дед, – сказал Валерьян, когда они спускались с ней по лестнице к выходу. – Фанатик!

Он припоминал невольно коллег отца, его товарищей по НИИ. Те были велеречивы, чванливы, обожали многословные дискуссии, иной раз устраивая горячие диспуты в часы застолий, едко высмеивали всевозможных начальников, директоров, парторгов. Но он абсолютно не мог представить, чтоб кто-нибудь из них, да даже отец, вот так, под самый Новый год, до шестого часа вечера, оставался бы в институте, терпеливо натаскивая непонятливого аспиранта.

– Говорят, недавно его в ФРГ, в университет приглашали с лекциями выступать, – поведала Инна. – Гонорар в дойч-марках предлагали. Так он, представь, отказал. Нет, мол, не поеду немчуру учить – и марки мне ваши не нужны.

Она украдкой озирнулась через плечо, будто опасаясь, что Велижанин спускается следом, продолжила:

– Он, кажется, немцев до сих пор ненавидит. Ведь он из тех ещё... кто действительно воевал.

Валерьян не нашёлся, что и сказать.

Выйдя на улицу, они направились к остановке. Прежде чем ехать к Медведеву, Инне необходимо было попасть домой, взять приготовленный для Валерьяна подарок, переодеться. Шампанское он раздобыл накануне и, собираясь встречать её, захватил с собой – так и просидел всё это время в коридоре, поставив возле себя на скамью матерчатую сумку с двумя бутылками.

Доехав до Авиационной, они вошли в её двор вместе – теперь Инна уже не опасалась, что кто-то может увидеть их здесь вдвоём. Однако в квартиру к себе она не пригласила.

– Подожди здесь, пожалуйста, – попросила она, будто прося извинения.

Затем посмотрела вверх, на светящееся окно третьего этажа.

– Отец вон дома. Уверена: пьян...

Инна быстро поцеловала Валерьяна в щёку, словно благодаря за согласие ждать на морозе, прошагала в тёмную глу-

бину подъезда. По узкой лестнице зацокали её каблучки, потом послышался звук открываемой двери.

Валерьян выбрел из подъезда во двор. Остановившись в его середине, подле фонаря, поднял голову, точно надеясь разглядеть что-нибудь в показанном Инной окне. Штор на нём не было, но слабо освещённое изнутри стекло казалось плохо проницаемым, мутным. Возле него зажглось другое – зашторенное, но ярче, и Валерьян гадал, Инна ли, войдя в свою комнату, включила свет, либо же это просто окно другой квартиры.

– Слышь, парень... прикури, а... – развязно окликнул его вынырнувший откуда-то плюгавый, в мешковато обвисяющей “аляске”, мужичок.

Мужичок был хорошо “под мухой”, щуплая рука его, тянясь к Валерьяну незажжённой сигаретой, виляла, подрагивая.

– Не курю, – пробурчал Валерьян, сторонясь его инстинктивно.

– Э-э-э... – разочарованный мужичок бессильно уронил руку вниз, точно плеть.

Он поднял голову, поглядел, как показалось Валерьяну, на то же самое мутное, без занавесок, окно.

– Ладно, у Васьки подымлю... в форточку, – пробормотал он, прищуривая скошенный глаз. – У-у... Васька...

Он побрёл к подъезду, рыхля заплетающимися ногами свежевыпавший снег.

Спустя полминуты во двор спустилась Инна. Подкрашенное лицо её было не празднично. Валерьян, чуя без слов её грусть, прижал Инну к себе. Щёки её почудились ему влажными.

– Чего ты?

– А-а... пойдём, – проговорила она, потянув за руку. – Поедем...

Они вернулись на остановку, сели в “тройку”, вышли за квартал от центральной площади, пересели в “восьмёрку” – троллейбус. Медведев жил на другом конце города, и добраться туда нужно было с пересадкой.

Когда они оказались уже у самого дома Медведева, Валерьян вдруг остановился.

Он поставил сумку с шампанским на снег, расстегнул куртку, вынул из внутреннего кармана упакованную в серебристую фольгу коробочку. Ему не хотелось вручать свой подарок на глазах посторонних.

– С наступающим, – ласково сказал он.

И, протягивая коробочку, поцеловал Инну в губы.

Она обхватила его рукой за шею, растеряно и радостно опуская ресницы.

В коробочке был флакон польских духов “Пани Валевска”.

– Класс! – просияла Инна, разобрав на флаконе нанесённую латиницей позолоченную надпись. – Класс, Валер!

Свой подарок – аккуратную вязаную спортивную шапку

– она тоже вручила здесь, не входя в дом. Сама шапка понравилась Валерьяну не очень. Прилаженная к ней кисточка показалась ему лишней, портящей весь вид, но он, улыбнувшись, снова поцеловал Инну.

– Теперь точно мёрзнуть не буду, – Валерьян игриво кольнул её пальцем под грудь. – Не дашь.

Когда они позвонили в квартиру, все гости, кроме них, уже собрались.

– Припозднились, – Медведев, широко и немного хмельно улыбаясь, растворил дверь.

Веселье разгорелось, разогреваемое стопками и фужерами. Медведев, Сорокин, Кондратьев взяли за водку, решив повременить с шампанским до боя курантов. Инна с Наташей откупорили одну бутылку – “проводить старый год”. Валерьян чокался со всеми, но пил аккуратно, не желая сильно пьянеть.

В углу гостиной комнаты, на массивной деревянной тумбе, работал цветной “Горизонт”, но в экран почти не смотрели – программы центральных каналов казались скучны. Медведев, заглушил звук, приволок магнитофон.

Вначале он крутил рок, но девушки, повеселев, затребовали эстраду.

– Хватит уже этих “групп крови”. Давайте другое, веселее, – воскликнула Инна.

Медведев пробовал возражать, но она настояла, чтобы кассету переменяли.

Зазвучал слащаво “Ласковый май”. Инна подпевала вначале, вихляя плечами, затем потянула Валерьяна танцевать в проёме между комодом и накрытым столом.

– Белые розы, белые розы, беззащитны шипы... – прикрывала она, обнимая Валерьяна за шею, глаза.

Наташа, не утерпев, выволокла танцевать Сорокина. Несколько минут две пары толкались на тесном пятачке, подначиваемые хмельными возгласами Кондратьева и Витьки. Затем Сорокин неожиданно подхватил Наташу на руки. Та, болтая ногами в воздухе, зашла в громком, радостном визге.

– На столе давайте, ну! – захохотал Кондратьев.

Сорокин, кружась с заливающейся смехом Наташей на руках, действительно натолкнулся с размаху на угол стола. Она взвизгнула уже от испуга. Защитно выставив руку, попала ладонью в тарелку, сбросила её с дребезгом на пол. Белые комки “столичного” разлетелись по узорчатому паласу.

– Вот и насвинячили, – произнёс Медведев, беззлобно разевая рот.

Сорокин растеряно переминался на месте, не решаясь опустить Наташу на пол. Та даже ноги поджала, боясь пораниться об осколки стекла.

– Аккуратней! Ай! – вскрикивала она.

– Эх, пошла веселуха! – крикнул Кондратьев, тараша дуреющие глаза.

Но незадолго до боя курантов ребята всё-таки притихли,

убавили музыку и вновь включили у телевизора звук. Передавали обращение Горбачёва.

– Ну послушаем, чего он там, – со скепсисом сказал Валерьян.

Генеральный секретарь, часто опуская лицо к остающейся вне кадра бумаге, глаголил:

– Дорогие товарищи! Через несколько минут завершится 1989 год, а вместе с ним завершится и целое десятилетие. Мы вступаем в новый 1990 год, в последнее десятилетие двадцатого века...

Говорил он, как и всегда, витиевато и длинно, но почти целиком о политике. Похвалил завершивших недавно съезд депутатов, посетовал на хозяйственные трудности и рост международной вражды, пообещал ускорить реформы...

Несмотря на обилие слов, конкретный смысл речи упорно ускользал, точно протекающая сквозь пальцы вода.

– Хорош трепаться, Горбатый! Закругляйся, давай, – нетерпеливо выкрикнул Медведев, поглядывая на часы.

– Пусть бы лучше сказал, когда заживём как люди, – бросила Инна, хмурясь.

– Ну, с новым десятилетием! – иронично провозгласил Кондратьев, лишь только куранты начали свой бой.

Выпив по фужеру шампанского, все прильнули к окнам. Обыкновенно в Новый год, сразу после двенадцати, над городскими кварталами неизменно взвивалось несколько ракет, казавшихся им, непресыщенным зрелищами, едва ли не

фейерверком.

Теперь ракет взлетело больше, с десятков. Прочерчивая высокие, крутые траектории, они поднимались одна за другой, и были все красного цвета. Затем пара вылетела из-за соседнего дома – и тоже красных.

– А зелёной-то ни одной, – проговорил, озадачиваясь, Со-рокин. – С военного склада что ли списанных понадыбали...

Валерьян молчал, наблюдая, как высоко, выше деревьев и крыш, медленно превращаясь из алой звезды в тлеющий уголь, тускнеет, выгорая, последняя.

XVI

Снежными матовыми сумерками Валерьян пошёл провожать Инну к автобусу. На остановке не было ни души. Под начавшим под утро обильно сыпаться снегом картонные хлопья, пустые бутылки, кожура мандарин – следы вчерашнего суетного веселья – уже с трудом угадывались на неметёном тротуаре округлыми бугорками.

– Поеду, – завидев пробивающие белесую мглу фары раннего автобуса, произнесла Инна.

Голос её стал грустен, словно возвращение домой было для неё неприятной повинностью.

Поцеловав Валерьяна, она поднялась по заледенелым ступенькам в салон, помахала ему сквозь морозно разузоренное окно рукой. Автобус немедленно тронулся, будто бы и остановившись здесь лишь затем, чтобы подхватить её и умчаться в густеющий снегопад.

Дома Валерьяна встретили обеспокоенные родители.

– Ты как? – воскликнула в прихожей Валентина. – Всё с тобой хорошо?

Валерьян устало повесил на крюк вешалки шапку, протёр пальцем уголки осоловелых, слипающихся глаз.

– Хорошо... Отметили весело. А вы?

Валентина, однако, заговорила о другом:

– Среди ночи женщина какая-то нам по телефону позво-

нила. Представилась матерью некой Инны Чупраковой. С тобой поговорить хотела. Прямо настаивала.

В словах матери зазвучал вызов, усиленный и тревогой от странного ночного звонка и накопившимся раздражением от скрытности сына.

Валерьян, сидя на обувном ящике, расшнуровывал ботинки. Огорошенный известием, он ещё несколько секунд продолжал машинально возиться со шнурками, затем замер, соображая, приподнял голову.

– Меня?

От новости и впрямь повеяло недобрым.

– Тебя. Что-то случилось там у неё... нехорошее. Она прямо в трубку рыдала.

– Рыдала? – растеряно переспросил Валерьян. – А... из-за чего?

– Я думала, ты нам это объяснишь.

Отец был более спокоен, потому пояснил:

– Дочь она свою искала. Была уверена, что та с тобой... отмечает.

– Мы у Витьки Медведева собирались. Я ж предупредил, – забормотал он, соображая, что же могло в эту ночь стрястись. – Много кто там был, не я один...

Телефона в квартире Инны не было. Значит, мать её звонила не из дома. От соседей? Из больницы, где несла дежурство?

– И эта... Инна Чупракова... она тоже была с вами? – тре-

бовательно спросил отец.

Валерьян, не желая больше темнить, ответил кратко:

– Да.

Павел Федосеевич, вырвав-таки из сына признание, продолжил мягче:

– Её мать позвонила в начале четвёртого, мы спать только-только легли. Когда мы сказали, что ты не дома, она стала спрашивать, где тебя найти, как связаться. Она была абсолютно уверена, что её дочь с тобой.

– Всё молчал, таился от нас, негодник. А теперь что вышло? – укорила Валентина опять и прибавила с недовольством. – Что всё это значит?

Валерьян продолжал сидеть на обувном ящике, стащив с ноги один ботинок, но не успев стащить другой. Пустой обледенелый автобус, глубинная, непроходящая грусть в голосе, в словах Инны, вглядывающийся в окна её квартиры пьяница вспомнились с резкой, болезненной яркостью.

“Приключилось чего-то. У неё дома”, – не предположил даже, а уверовал Валерьян.

Он принялся решительно надевать снятый было ботинок.

– Ты чего? Куда ты? – всполошились оба родителя.

Но Валерьян, не ощущая более хмельной сонливости, уже, растворяя дверь, выскакивал за порог.

– Я ненадолго... я скоро, – сбивчиво выкрикнул он, торопливо сбегая по лестнице вниз.

Отец и мать, растеряно моргая и переглядываясь, беспо-

мощно топтались возле порога.

На остановке Валерьян оказался через пару минут. Ему повезло – автобус появился быстро. Но первоянварским утром проезжую часть не расчищали и не посыпали песком, оттого ехал он долго. Нервничающий Валерьян барабанил пальцами по спинке переднего сидения и тёр стекло, желая видеть, далеко ли ещё осталось до поворота на Авиационную улицу.

Сидя в непрогретом салоне утробно гудящего мотором “ЛИАЗА”, Валерьян напряжённо думал, как теперь поступить. К дому Инны его погнал подступивший к сердцу страх, смутный, но сильный. Ждать, когда та даст о себе знать сама, он, предугадывая плохое, заставить себя не мог. Но что будет дальше – ни знать, ни даже толком предположить не мог.

Сойдя на нужной остановке, он недолго потоптался на улице, глаза на дом, словно надеясь проникнуть взором сквозь его стены. Затем направился во двор, всё яснее осознавая нелепость своего прихода в случае, если окажется, что ничего худого не случилось. Но он сейчас соглашался скорее оказаться нелепым, нежели малодушным.

Во дворе, куда он вошёл исполненный тревожного смятения, в глаза сразу же бросился жёлтый милицейский “УАЗ”, приткнутый к самым ступеням подъезда, в котором располагалась квартира Инны. Возле него толклись зеваки-соседи, пожилая тётка в выцветшем зелёном пальто вещала, эмоционально прижимая руку к груди:

– Слышу среди ночи крик дикий из-за стены. И мат-перемат... мат-перемат...

Валерьян ринулся к подъезду.

К квартире Инны ноги привели его сами. Дверь в неё была открыта, а за порогом, в коридоре, в распахнутых настежь комнатах виднелись фигуры людей, в форме и в штатском.

– Вы куда? – грубовато окликнул Валерьяна стоявший на лестничной площадке милиционер.

Валерьян, не отвечая, влетел в квартиру.

– Инна! Инна! – вскричал он.

Милиционер, бросившись сзади, ухватил его за плечо и даже принялся выворачивать руку.

– Стой, говорю! Нельзя, – рявкнул он властно.

Из комнаты выглянул насупленный тип в штатском.

– В чём дело?

Валерьян, вывёртываясь и выдирая руку, изгибал шею, тянясь всем телом в квартиру, вперёд. Но из-за повыскакивавших в узкую переднюю людей он ничего уже не мог там разглядеть.

Типу в штатском его настырность пришлась не по душе. Он приосанился, словно желая ещё более загородить и без того скудный обзор, прогромыхал, багровея:

– В чём дело, спрашиваю?

Валерьян, перестав рваться, утих. Полусогнутый, морщась от боли в заломленной руке, проговорил:

– Я к Инне. Она здесь живёт. Её мать ночью искала.

Штатский прощупал его неприветливым взглядом из-под седеющих бровей, кивнул милиционеру на площадке. Тот, чуть ослабляя хват, подтолкнул его через порог.

– Ну так расскажете, кто кого искал, – хмуро сказал он. – А шуметь на лестнице нечего.

Валерьяна, не дав оглянуться, провели в кухню, тесную и неопрятную, усадили за стол, закрыли дверь. Спросили документы, даже карманы прощупали для верности. Вытащив студенческий билет, раскрыли, прочли вслух фамилию, имя. Штатский, который явно был старшим, уселся напротив. Кладя его документ перед собой, на несвежую, в разводах, скатерть, он начал допрашивать.

– Студент, значит. А прописаны где?

Валерьян назвал адрес.

– Кого из проживающих в этой квартире знаете?

Валерьян понял, что если не станет отвечать обстоятельно и честно, то недоверчивость к нему лишь усилится. Потому подробно, насколько мог, рассказал про новогодний праздник на квартире однокурсника, про то, как проводил утром Инну до автобусной остановки, как по приезде домой родители поведали о странном ночном звонке...

Штатский слушал, иногда чиркая ручкой в блокнот. Переспросил, в котором часу, со слов родителей, звонили по телефону, снова сделал пометку, даже что-то у себя подчеркнул.

– Из семьи Чупраковых, кроме этой Инны, с кем ещё зна-

комы? – спросил он, когда Валерьян завершил рассказ.

– Ни с кем.

Штатский приобнажил в скептической улыбке прокуренные зубы:

– В квартиру рвались, будто невесту из огня спасать – и ни с кем не знакомы?

Валерьян мотнул головой:

– Нет, не знаком.

– А прежде здесь часто бывали?

– Не бывал.

– И номера своего не давали?

– Номер давал Инне. А как он к матери её попал – не знаю.

Наверное, Инна сама ей однажды сказала.

Штатский ухмыльнулся вновь, развязнее в мелочном торжестве.

– Не знакомы...не бывали... А как же в таком случае квартиру нашли?

Валерьян, ёжась под расчётливыми, каверзными вопросами оперативного работника, осознавал, что ночью здесь произошло что-то очень тяжкое.

– Так что здесь случилось? Можете мне сказать? – нервозно воскликнул он.

Штатский поедал его взглядом, впиваясь поочерёдно то ему в лицо, то в руки.

– Здесь тоже Новый год отмечали, – неприятно осклабился он. – Только переборщили чуток.

– Пьяная драка... поножовщина... убийство, – суховато и буднично сообщил человек с погонами офицера, за минуту до того заглянувший на кухню.

– Кого? – голос Валерьян сделался вятен, но тих.

– Соседа, гражданина Павла Карпенко, жильца шестьдесят седьмой квартиры.

Валерьян несколько секунд молчал, устремив взгляд на блокнот оперативника. Потом, преодолевая гнетущее оцепенение, спросил:

– А Инна? Где она?

– Мать к родне провожать поехала, – сказал офицер, словно бы даже с сочувствием. – Та в обморок падала. Уводили – была чуть жива.

Валерьян постепенно начинал угадывать, что же именно произошло в квартире. Скорее всего, отец Инны, сильно перебрав, повздорил с собутыльником. Они разодрались...

Валерьяну вторично за это утро пришёл на ум вчерашний пьяница.

“Не тот ли самый этим Карпенко и был?” – подумал он.

– Вчера, когда Инну во дворе ждал, то видел какого-то... поддатого. Спрашивал закурить. Он, кажется, к ним в квартиру, к отцу её собирался подняться, – сказал Валерьян, смутно ощущая, что может таким признанием чем-то родным Инны помочь.

Штатский и офицер разом вскинули брови.

– Про то, что, оказывается, и вчера сюда приходили, вы

нам не говорили, – процедил оперативник, вновь засверлив Валерьяна взглядом. – Почему?

Валерьян почувствовал, что потеет лицом.

– Да я только во дворе был, говорю. В квартиру не заходил.

Оперативник потребовал от него описать внешность встреченного мужичка, его одежду, выпытывал, в котором часу произошла их встреча, заставил слово в слово повторить, что тот сказал.

– А девушка ваша, Инна – она тоже видела этого человека?

Валерьян, тушуясь ещё сильнее, замямлил совсем уж несуразно:

– Инна? Нет... Нет. Я стоял там один... Она дома была, у себя...

Оперативник, учуяв фальшь, выдавливал из него признания, будто зубную пасту из тюбика:

– Но вы же сказали, что этот человек пошёл в подъезд. Значит, она могла встретиться с ним в квартире.

– Не знаю... нет. Она ничего про это не говорила.

– Но может быть, они тогда столкнулись на лестнице?

Валерьян растерянно бормотал, уже не соображая, как лучше и безопаснее для Инны представить дело. Мысль, что этот въедливый, придирчивый тип, усадив Инну напротив себя, примется вот так же выпытывать из неё всякую мелочь, жгла его, заставляя заикаться и отвечать невпопад.

“И чего про того пьяницу сболтнул? Дурак! Вот дурак!”
– корил он себя.

– Так, – определил штатский, закрывая блокнот. – Поедете с нами в отделение. Там повторите всё под протокол.

– Зачем? – недоверчиво отстранился Валерьян.

– Полагается, – он встал. – А потом, думаю, проведём опознание. Внешность убитого Карпенко вы описали точно.

Когда Валерьян выходил из кухни, то увидел, как двое, один в форме, другой в обычной, гражданской одежде, продолжают возиться в раскрытой настёжке комнате, что-то измеряя, сосредоточено наводя фотообъектив на прилегающий к стене край затёртого, в проплешинах, ковра. На ковре были отчётливо различимы обильные багровые пятна.

Валерьян приостановился, повёл взгляд по густому кровавому следу, прокрапленному через всю комнату к прихожей. Пятна почти все были вытянутой, продольной формы, иные размазанные, будто кляксы, как будто кто-то, истекая кровью, упорно полз к выходу. Дверь с внутренней стороны, до самой ручки, тоже была вымазана красным.

– Не сразу он умер, да? – спросил он, отворачиваясь от залитой кровью комнаты.

– Забирала “скорая” – дышал. А потом позвонили – всё, концы отдал, – всё так же негромко и буднично сказал офицер и тут же, вытянув шею, заворчал на фотографа. – Ты ракурс, ракурс лучше подбирай. А то вечно: принесут снимки – и ни хрена на них не разобрать.

Валерьяна усадили в жёлтый УАЗ, на заднее сидение, в затылок водителю. Забираясь в машину, он сразу наткнулся взором на маленькое зарешёченное оконце камеры, отгороженной от салона металлической стенкой. Вид решётки заставил его отвернуть лицо – он догадался, что в той камере перевозят арестантов.

Отделение в праздничный день было пустынно, только дежурная смена смурно сидела при входе. Валерьяна сразу провели на второй этаж, завели в кабинет, к следователю. Скребя пятернёй всё хуже соображавшую чугунную голову, Валерьян повторил рассказ. Следователь, как и оперативник в штатском, выспрашивал всё в подробностях, фиксируя в протоколе всякую деталь. От казавшихся нескончаемыми дотошных расспросов, от однообразного стука клавиш печатной машинки Валерьян совершенно отупел, и когда следователь, в конце концов, исчерпав все вопросы, протянул ему отпечатанные листы, он расписался, не вникая.

– А теперь на опознание – в морг, – распорядился следователь, укладывая бумаги в папку.

Валерьян попытался вяло отнекиваться, но следователь напористо произнёс:

– Не спорьте – таков порядок. Вы – свидетель. Обязаны. Он, выходя из-за стола, властным жестом повелел Валерьяну встать, но глянув ему пристальнее в лицо, смягчился: – Это недолго. Проведём процедуру – и всё, свободны. В морге действительно всё завершилось достаточно быст-

ро. Труп, покрытый светлой клеёнкой, лежал на столе, и свет ламп отбликовывал от её гладкой матовой поверхности. Понятыми привлекли двух медработников. Следователь сдёрнул клеёнку, обнажая неживое, обнажённое тело до груди. Валерьян всматривался несколько мгновений, сопоставляя в уме подточенные смертью черты осунувшегося лица с теми, что заметил у мужичка накануне.

– Он, – уверенно подтвердил Валерьян. – Он. Точно.

Домой он вернулся далеко за полдень. Встретили его скандалом.

– Тебя где носило столько времени, а? Убежал, ничего не сказав, точно помешанный! – разгневанно кричала мать.

Отец отчитывал, сердито супя брови:

– Нет, ну кто так поступает? Сидим, как дураки, ждём, нервничаем. Не знаем, что уже и думать!

Валерьян, совершенно разбитый, прошагал в ванну. Тщательно вымыв руки прохладной водой, он низко наклонился над раковиной и, изогнув шею, подставил лицо под струю. Вода растекалась по его щекам, скулам, подбородку, заливаясь за воротник, скользя вниз по плечам и груди, но он не ёжился и не вздрагивал в ознобе.

Мать, оставаясь в прихожей, кричала через открытую дверь:

– Так где ты был? Ты хоть это можешь нам сказать или нет?

– В милиции, – ответил он, посвежев. И закрыл кран.

Павел Федосеевич и Валентина ахнули.

XVII

Инну Валерьян увидел на следующий день. Она сама позвонила ему от соседей.

– Как ты? – обеспокоенно спросила она. – Сказали, ты приходил, но тебя увезли в милицию.

– Да в порядке всё, мурыжили недолго, – отбрехался Валерьян и, вздохнув, осторожно спросил сам. – Ты-то как?

– Я? С мамой была. Ей сегодня полегчало чуть-чуть.

После недолгого молчания, Инна глухо проговорила, дыша в трубку:

– Я... я хочу тебя видеть.

Они встретились возле центрального универмага и на счастье сумели быстро разыскать свободное, несмотря на праздничный день, кафе. Морозило ощутимо, и другого места для разговора им было не отыскать.

Инна, вопреки опасениям Валерьяна, не выглядела раздавленной горем, но взгляд её глаз был глубок.

– Посадят его теперь. Надолго, – сказала она, сухо и без слёз.

– Отца?

– Да.

Валерьян в задумчивости подпёр ладонью подбородок.

– Ты знаешь точно, как всё там было? Может тот человек сам на него в драку полез? Первым?

– Да сосед это наш. Видела я его даже тем вечером на лестнице, когда спускалась к тебе. Они с отцом моим уж сколько раз то пили, то дрались, то снова пили...

– Так это вам всё в милиции объяснить надо. В подробностях объяснить. Пусть запишут у себя, в свои протоколы.

Инна безнадежно пожала плечами:

– Это что-нибудь изменит?

Валерьян ухватил её за предплечье, энергично потряс.

– Конечно, изменит. Для них, как я понял, каждая мелочь важна. Может, большого срока и не присудят.

Инна понуро опустила ресницы.

– Они вдвоём у нас были. Кто ж наверняка разберёт, с чего у них в этот раз всё началось? Сначала пили, потом задралась – соседи слышали крики, шум. Тот его вроде бутылкой огрел. Отец – за нож.

Инна прижала ладонь к глазам. Малоподвижное лицо её вдруг, словно сведённое внезапной судорогой, скукожилось.

– Пил, пил, мучил нас, мучил... А теперь вот... человека убил, – утробно хрипя, зарыдала она. – Убил... Взял и убил!

Связный разговор их на том оборвался. Ни у него, ни у нее слова больше не шли с языка.

Валерьян привлёк Инну к себе, топя щёки в её длинных, лежащих по плечам волосах. Она, рыдая, содрогалась сведённым, одеревенелым телом в мучительном страдании...

Нелегко пришлось Валерьяну с домашними. Первона-

чальная оторопь родителей сменилась негодованием.

– Почему же ты столько времени всё от нас скрывал? Почему до сих пор ничего не рассказывал про эту девушку? – кипятилась мать. – Что, для этого надо было обязательно в грязную историю угодить?

Валерьян тёр пальцем переносицу, сердито сопел.

– Да куда я не угодил. Записали показания – отвязались...

Павел Федосеевич, скрещивая руки на груди, недобро сужал глаз.

– А я знаю, почему он скрывал. Потому как знал: мы таких отношений не одобрим. Дочка каких-то пьянчуг, папашу за драку с поножовщиной арестовали...

– Неправда! У неё только отец алкоголик, а мать нормальная, непьющая. И сама Инна в нашем университете учиться, на химфаке.

Но Валентина наседала на него неугомонно:

– Лерик, послушай нас! Мы, родители, тебе только добра хотим. Ты на эту девицу не засматривайся. Из-за хороших девушек в милицию не попадают, знай!

– Не хватало только, чтобы тебя теперь ещё по судам таскать начали. Только этого не доставало, – поддавил отец.

Валерьян, внутренне кипя, ещё не оставлял надежды сгладить разговор.

– Я туда к ним поехал, потому что мать Инны нам звонила – сами же и рассказали. Кто мог заранее знать, что там

случилось?

Родителей его аргументы не убеждали.

– А зачем ты ей понадобился вообще? Зачем она тебя в эти дразги пьяные сразу впутала?

– Ничего она не впутала. Она просто дочку разыскать хотела.

– Ты эту семейку повыгораживай ещё! – бросил Павел Федосеевич, уже резче и грубее. – Такие и сами жить по-людски не способны, и другим испортить жизнь норовят.

Он шагнул к окну, быстрым, нервным движением отодвинул занавеску.

– Алкашичьи дети... В университеты ещё лезут, – процедил он, щеря небрежно выбритый рот. – Хоть циркуляр против таких принимай.

– Ты, Лерик, таким не верь, – подхватила Валентина. – Ты просто юн пока и жизни совсем не знаешь. Окрутить тебя хотят, простофилю.

Валерьян вскочил, сжал кулаки.

– Прекратите! Зачем вы так говорите о человеке, который мне дорог?! Которого я люблю!

Павел Федосеевич испустил долгий горестный выдох, а Валентина, собрав в болезненные морщины лицо, вскричала пронзительно:

– Да сам прекрати! Понял?! Любит он... Сил нет глупости твоей слушать!

На побелевшей щеке Валерьян вылез, подрагивая, желва-

чок. Он ринулся из кухни прочь, толкая в сердцах дверь, заглушая гневным возгласом прущее наружу бранное слово.

– Вас, вас сил нет слушать! – восклицал он, мечась взбешенно по своей комнате.

Родители после ссоры с сыном занервничали всерьёз. В последующие дни они между собой не раз возвращались к прежнему разговору, уединившись в комнате или на кухне. Павел Федосеевич, будто стремясь оправдаться за былое благодушие, как правило затевал его первым.

– Нет, я, конечно, понимал, что у него появилась девушка, но что всё обстоит вот так... Дочь алкоголика, убийцы... – он в горьком недоумении выпячивал губу и поджимал плечи. – Не думал, никак не думал, что мой сын с такой свяжется.

– Вот чуяло моё сердце, что там неладно. Чуяло, – повторяла, гордясь и в печали своей прозорливостью Валентина. – Все эти его увёртки, отговорки мне с самого начала не нравились.

– Да я думал, он просто из застенчивости скрытничал с нами. Думал, потом всё сам расскажет. Позже.

– Мы, конечно, подпустили его. Внимательнее стоило быть – ведь восемнадцать лет, такой возраст...

Валентина вставала, садилась, снова вставала, не находя себе места.

– Ты учти, она ещё замуж его всюю тащить станет. А Лерик ведь наш такой ещё неопытный...

Павел Федосеевич зажмурил на мгновенье глаза, содрогаясь.

– Ладно тебе каркать!

Валентина повторила с упорством:

– Я серьёзно тебе говорю. Эта девица так просто, сама, от него не отвяжется.

Павел Федосеевич откинулся на спинку стула.

– Что на него нашло? Ведь здравомыслящим, разумным парнем всегда был. Никогда прежде ни с какими люмпенами дружбы не водил. Думали, год-другой – и найдёт себе хорошую девушку из приличной, интеллигентной семьи. И вдруг такое...

Валентина уселась напротив мужа, прикусила ноготь мизинца.

– Разговаривать с ним надо. Только аккуратно, без скандалов. Постепенно всё объяснять. Я поняла: если так, прямо в лоб эту девицу ругать начинать, то лишь хуже сделаешь.

На старый Новый год Павел Федосеевич с Валентиной отправились в гости к Мироновым, но застольный разговор вдруг быстро соскользнул на болезненную для них тему. Оказалось, Ирина Миронова недавно видела в городе Валерьяна, но тот был не один, с Инной, и поглощённый ею, даже не глядел вокруг.

Миронова начала плести рассказ вкрадчиво, более норовя вывести на встречный рассказ самих Ештокиных. Но под конец, будто исподволь поддразнивая, самое неприятное для

них расписала с откровенностью:

– Подхожу к остановке возле университета, смотрю – Валерьян. Да не один, с какой-то девицей. Забились под навес в самый угол, милуются. Он обнимает её и прямо такими влюблёнными глазами на неё смотрит...

Миронова подхихикнула:

– Вы не говорили прежде, что у сына вашего, оказывается, невеста есть.

Валентина резко вскричала, точно уколота булавкой:

– Господи, да глаза б мои такой невесты не видели! Как прилепился он к ней, так прямо не знаем, что и делать...

Миронова, любопытствующее блеснув глазами, прикинулась удивлённой:

– А чем же она плоха? На вид симпатичная, стройная, не вульгарна...

– А, стройная... – отмахнулась, вздыхая, Валентина. – Из семьи-то она какой? Папаша – пьяница законченный, в тюрьму посадили недавно.

Павел Федосеевич поджал с недовольством губы, но изведшуюся за эти дни Валентину было не сдержать. Она поведала Мироновым обо всём с такой горестью, что и благодушный Сергей Михайлович и даже Ирина по-настоящему прониклись.

– Надо же, а. А на вид такая благопристойная показалась, – проговорила Миронова, прицокивая языком. – Такая приличная.

– Пройда она – уверена, – выпалила Валентина с чувством. – Это просто наш такой неопытный простофиля. Раньше и девушек-то у него не было толком никаких, потому и раскусить её не может.

– А объяснить пробовали? – спросил Сергей Миронов. – Или совсем слушать вас перестал?

– Совсем, – Валентина, будто мучимая головной болью, приложила ладонь к виску. – Раньше такой мягкий, внимательный был, а тут...

– Познакомить его тогда с какой-нибудь другой девушкой надо. Вдруг переключится? – посоветовала Ирина.

Ештокины удручённо молчали, горюя от внезапно нашедшей на них напасти. Павел Федосеевич подлил себе в рюмку водки.

По пути домой он сказал жене:

– Может, и правда стоит попробовать, как Ирка говорит? У твоих знакомых, подруг дочки – сверстницы Лерика – есть?

Он посмотрел вверх, на мерцающие в стылом воздухе звёзды. Скрипнул зубами:

– Ну нельзя ж дожидаться, когда в городе на сына нашего пальцем показывать начнут. Мол, смотрите, вон он идёт – с дочкой убийцы.

Часть вторая

I

Валерьян и Инна справились с экзаменами хорошо, без троек, но двухнедельные, до начала февраля, каникулы текли безрадостно для обоих.

Инна часто оставалась с матерью дома, присутствуя при её скорби и скорбя сама. Та, разлучившись с мужем, тосковала о нём упрямо, первые дни после случившегося взывала тяжело, будто по мёртвому:

– Допился-таки, паразит! У-у-у, допился...

В её болезненных, мучительных причитаниях звучала и горечь о загубленных жизнях, и глубокий, нутряной страх за предстоящее.

– Жить-то дальше теперь как? И себя, дурак, изгубил, и на нас люди теперь как на зачумлённых смотрят.

За неделю она чуть-чуть оклемалась и, отчасти движимая многолетней привычкой заботиться о пропащем муже, отчасти из желания унять грызущую тоску, начала собирать тому посылку в следственный изолятор.

В точности не зная, какие именно продукты и вещи разрешены к передаче, она сложила в картонный ящик то, что прежде относила супругу в больницу: чайную пачку, пакет развесного печенья, банки с вареньем и консервами, плитку шоколада...

– Щётку зубную давай передадим. И пасту, – сказала Ин-

на, подумав. – А ещё ему наверняка нужна хорошая тёплая рубашка, носки, бельё, полотенце.

Мать, словно разучившись за эти дни соображать, глуповато захлопала ртом:

– А что ж, разве щётку, пасту им там не выдают?

Инна, печально, но терпеливо вразумляя, проговорила:

– Там не больничная палата. Там – тюрьма.

Когда вещи, наконец, были отобраны и сложены, а коробка запечатана, мать взяла чёрный жирный карандаш и, помусолив языком стержень, вывела на плотном картоне: от Чупраковой Татьяны Ивановны. Затем, подумав, приписала их домашний адрес.

В изолятор они с Инной отправились вдвоём, дочь помогала матери нести громоздкий, охваченный бечевой короб. Добираться до располагавшейся на отшибе тюрьмы было неудобно, ехать пришлось с двумя пересадками, сначала на автобусе, потом на троллейбусе, а затем ещё – почти километр ковылять пешком, держа с двух сторон за бечеву угловатый, задевающий ноги короб. Когда они, отыскав в протяжном, сером, оплетённом сверху колючей проволокой заборе вход в помещение, где принимались посылки для арестантов, вошли внутрь и измождено опустили ношу на пол, ладони обеих были почти до крови прорезаны жёсткой бечевой.

– Уф-ф ты, господи, – тяжело охнула Татьяна Ивановна, убирая назад, под шапку взопревшую прядь.

Для того чтобы пробиться к окошечку досмотра и приёмки, им пришлось прождать в очереди более двух часов. В помещении, совершенно лишённом скамеек и стульев, было холодно. Десятки ожидающих, притопывая мёрзнувшими, задубелыми ногами, приплясывали на месте, дыша друг на друга клубящимся паром.

Передачи проверяли очень медленно, разворачивая каждый шерстяной свитер и пару штанов, разламывая на части каждую булку или конфету. Когда Татьяна Ивановна с Инной, оказавшись возле окошка, начали вытаскивать из коробки вещи и еду, приёмщик их осадил:

– Консервы, варенье не принимаем, – произнёс он категорично.

Консервными банками и баллонами с вареньем была заложена половина их ящика. Татьяна Ивановна растеряно зашамкала, кругля глаза:

– Да почему же? Да как? Зря что ли тащили?

– Слева от окошка висит список. Там указано, что можно передавать. Варенье своё забирайте назад. Продукты домашнего консервирования, да к тому же ещё в стеклянной таре, принимать не положено.

– А что хоть можно-то тогда? – спросила, чуть не всхлипывая, она.

– Читайте. Там всё сказано, – буркнул приёмщик, решительно возвращая Инне банки.

Приняли только нательные вещи, умывальные принад-

лежности, чай, печенье, пачку сахара, шоколад.

– Господи, засадили человека, так теперь ещё и варенья ему передать не дают, – сердито гудела Татьяна Ивановна, выходя на улицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.